

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Иван Цанкар

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Ц 16.
P34122



ОГНЗ • ГОСЛИТИЗДАТ • 1945



Славянская библиотека

ИВАН ЦАНКАР

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

*Перевод со словенского
С. И. Урбана*

О Г И З
Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1945

О Г Л А В Л Е Н И Е

Певец народной печали — вступит. статья <i>С. И. Урбана</i>	3
Мать	6
Как я стал социалистом	10
Полицейским полезна гимнастика	18
Человек с того берега	22
Батрак Ерней и его право	33
Повесть о Симоне Сиротнике	96
Курент	137

Редактор *А. Н. Тихонов*.

Подп. к печ. 15/XII—1944 г. Тир. 10 000. 6 печ. лист.
7,74 уч.-авт. лист. А13018. Цена 3 руб. Зак. 286.

Филиал тип. изд-ва «Московский большевик»,
Москва, Петровка, 17.

ПЕВЕЦ НАРОДНОЙ ПЕЧАЛИ

Иван Цанкар, крупнейший словенский писатель, родился в Врхнике в 1876 г. в семье портного. При всей своей бедности отец Цанкара постарался дать сыну хорошее образование. Цанкар учился сначала в начальной школе в местечке, где родился, потом в реальном училище в Любляне, затем в Вене. Из технической школы он перешёл на философский факультет, где изучал славянские и романские языки. Это были трудные годы. В очерке «Мать» и, особенно, в рассказе «Как я стал социалистом», — произведениях биографического характера, — Цанкар дал выразительную картину жизни «студента из народа». Нелегки были и последующие годы — годы упорного литературного труда и борьбы, годы постоянной материальной необеспеченности, преследований и всяческих цензурных «запретов». Книги Цанкара не только запрещались, — люблянский епископ в 1892 г. скупил книгу стихов Цанкара и сжёг всё издание. Тюрьмы Любляны и Вены были хорошо известны Цанкару.

Жил он преимущественно в Любляне — столице словенцев, или в Вене — столице лоскутной Австрийской империи. Он много путешествовал по родному краю, заходил в сёла, забредал в горные деревушки, заглядывал в корчмы, и пыль большой кесарской¹ дороги часто покрывала его городские башмаки.

Европейски образованный человек, гуманист в лучшем смысле этого слова, сын своего народа, Иван Цанкар писал для него и о нём. Он горячо, с нежной печалью любил свой маленький, трудолюбивый, обездоленный народ. В повести «Курент» видна и великая любовь Цанкара

¹ Дороги, проведённой при императоре — «кесаре».

к своей стране, и его вера в её народ, в его светлое будущее.

Поэт, прозаик, драматург и блестящий публицист, Иван Цанкар брал сюжеты для своих произведений преимущественно из народной жизни. Излюбленная им форма — это повесть о трудящихся людях, смутно чувствующих несправду социального строя («Повесть о Симоне Сиротнике»), иногда бурно протестующих против бумажной «кривды» («Батрак Ерней и его право»), но чаще побеждённых и гибнущих. Таков основной лейтмотив произведений Цанкара.

Рождённый и обречённый творить в тяжёлые времена австрийско-немецкой реакции, слегка лишь завуалированной официальной вывеской «федеративности», Цанкар не мог писать иначе, чем он писал. Словенская интеллигенция того времени была либо оболещена приманкой «федеративности», либо плавала в тумане либерального «народолюбства», отрекаясь при самом лёгком нажиме от своего либерализма. Писатель зло и горько высмеял это безвременье в рассказах: «Как я стал социалистом», «Человек с тѣ берега».

В рассказе «Курент» Цанкар показал суровую трудную историю своего народа. Устами Курента, воплощающего национальные черты своего народа, его неисчерпаемые силы, Цанкар говорит: «Народ, девятикратно осуждённый, как ты жил и до чего дожил? Твоя история — повесть долгих страданий больного бедняка, который неоднократно подымал голову, но не смог подняться во весь рост. Сколько долин и горных ущелий есть в этом прекрасном крае, но не вместить им той крови, которая была пролита здесь. И сколько ещё будет пролито её! Едва появившись на свет, ты уже оказался рабом. Брань была твоей наукой, и вколачивали эту науку в тебя палкой. Толкали тебя и фихали и отчим, и мачеха, и крёстные. Иногда ты плакал, иногда падал, иногда подымался. Но только успевал ты подняться, как снова валили тебя, ещё крепче связывали и даже рот затыкали. Струями лилась кровь твоя на землю, на несколько сажен вглубь насыщая её, поэтому так хорошо родила земля, и когда ты ел свой рабский кусок хлеба, ты ел своё тело и пил свою кровь. Крепок ты, о словенский народ! Тысячу и пятьсот лет истекаешь ты кровью, и ещё не иссякла она в твоих жилах. Другой, изнеженный, народ давно бы уже погиб, но ты, тысячи раз израненный, только закалился в страданиях. Под тяжестью вражеского

кулака только поводишь плечами: «Бросьте, эта шутка стара, ей уже тысяча лет».

Велики заслуги Цанкара пред словенским народом. Он поднял его дух, показал забитый и забытый народ его братьям и ввёл его творчество в общую культурную сокровищницу народов, создающих лучшее будущее человечества. Умер Иван Цанкар в 1918 г.

Мало оценённый при жизни, великий писатель получил своё признание после смерти. Вот как пишет о нём сербский проф. Анчелич:

«Цанкар не только самый великий, но и самый плодовитый словенский писатель. За сорок два года своей жизни он написал сорок томов. С 1900 г. начинается огромная литературная активность Цанкара. Он пишет баллады и романсы, очерки и сатиры, романы и повести, работает и над драмой, и над социальной комедией, занимается литературной критикой.

Творчество Цанкара отличается глубокой и сильной лиричностью. В психологическом углублении своих образов он реалист, но не книжный и не программный. Его реализм поэтичен и национален».

Чешский критик Иосиф Пата называет Цанкара «крупнейшим из славянских писателей».

В великой освободительной борьбе свободолюбивых народов с гитлеризмом из отважных партизанских отрядов Словении создалась бригада, принявшая имя Ивана Цанкара, любимейшего писателя словенского народа. Бригада, носящая это имя, вписала не одну славную страницу в историю борьбы своего народа.

В эти исторические, решающие судьбы всех славянских народов дни словенский народ, сплотившийся вокруг своего маршала Иосипа Броз Тито, сына хорвата и словенки, вспоминает слова великого писателя Словении:

«Если дойдёт когда-нибудь до политического объединения югославских народов, — а это не только моё горячее желание, но и моё твёрдое убеждение, что к этому объединению мы действительно придём, — то это осуществится не иначе, как тогда, когда они объединятся как равноправные и равноценные народы»¹.

¹ Выступление в Любляне 12 апреля 1913 г., за которое Цанкар попал в тюрьму.

МАТЬ

Моя мать родилась в деревне. Простая душой, она росла, как цветок в поле, и, выходя замуж, не умела ещё ни читать, ни писать. Этому она научилась, когда мы, дети, стали уже подрастать. Она училась по ночам, чтобы никто не видел. Буквы, которые она выводила непривычной рукой, были очень велики, но я до сих пор помню, как чист и красив был её словенский язык и как часто она исправляла нашу речь. После начальной грамоты пришёл черёд арифметике, а затем и грамматике: словенской и немецкой. Всему этому мать училась вместе с нами. Слишком остры и угловаты были немецкие буквы, и не без труда она к ним, наконец, привыкла. Станным показалось мне, когда я услышал из уст матери впервые немецкое слово, но тут же подумал: «Мать знает всё, почему бы ей не знать и немецкого языка». Так и шло, пока мы жили дома все вместе, но наступило время, когда разметало нас во все стороны.

Было лето, я приехал домой и привёз с собою полный чемодан немецких книг. Помнится, мне было тогда тринадцать лет. Заснул я, усталый с дороги, и проснулся около полуночи от яркого света, упавшего на мои ресницы. Отгляделся:

мать сидела за столом, перед ней лежали мои книги.

— Мама, ведь эти вещи не...—Слово застряло у меня в горле.

— Что «не»? — спросила мать, и её молодое лицо зарумянилось.

— Чужие книги... пустые... — договорил я тихим голосом. — Вам они ни к чему...

Я чувствовал, что сделал ей больно, и чувствовал также, что она видит моё лицемерие. В её руках была какая-то немецкая книга, кажется, «Вертер» Гёте.

— Смотри-ка, ведь я училась немецкому языку и понимаю, если кто говорит на улице... а вот этих слов не понимаю... ни одного не понимаю!

— И не нужно, мама, совсем не нужно, чтобы вы их понимали, — всё ещё смущённый ответил я, — совсем не нужно!

Теперь-то я понимаю, почему я тогда так смутился: я почувствовал тогда, что моя мать — сама чистота, а что мы — уже испорчены. Медленно закрыла она книгу, отложила её к другим, потом подошла ко мне.

— Что в этих книгах?

— Чужая учёность! — ответил я, и сердце моё наполнилось сожалением, тем сожалением, которое теперь, через много лет, стало таким горьким: «Был бы и я, как ты, мать, подобен цветку в поле, если бы не вкусил от древа познания».

— Скажи мне, что же говорит эта чужая учёность? — настаивала мать.

— Как бы тебе сказать, — недовольно и неспокойно отвечал я, — каждому она говорит по-разному, как ухо или память человека. Мне рассказывает красивые сказки, а кому-нибудь другому про «квас и кашу».

Мать покраснела.

— Где ты научился таким словам? Это что ж, в школе учат так говорить?

Она присела у моего изголовья и приблизила своё лицо к моему.

— Знаешь, что ты вчера забыл сделать?

— Не знаю.

— Я всё ждала, а ты так и уснул: ты забыл помолиться, лёг, даже не перекрестившись!

Я молчал, мысленно ласково улыбаясь: «Мать, дитя милое и невинное...» Как известно, тринадцатилетние подростки любят считать себя атеистами.

— Даже не перекрестился! Устал ты, но не так уж сильно, чтобы не дотянуть руки до лба. Как только я притронулась к этим книгам, я уже почувствовала, а теперь знаю, откуда у тебя эти твои мудрёные слова и смех, как у старика. Чужая учёность легла тебе на сердце и сделала тебя ни горячим, ни холодным, а как парное молоко...

Все её слова я слышал и понимал, но столько было во мне лицемерия, что я, закрыв глаза, глубоко дышал, как будто во сне. Мать тихонько встала, наклонилась над моей головой и перекрестила мне лоб, губы и грудь. Из-под опущенных век я видел её лицо: глаза её были в слезах, и губы дрожали:

— Бога не забывай, никогда не забывай!

Она перекрестила меня, нагнувшись так низко, что я почувствовал на щеках её тёплое дыхание.

— Храни тебя бог!

Я не шевельнулся и не открыл глаз, но долго не мог заснуть. Печальны и нежны были мои мысли. «О мать! Душа твоя без пятен, как солнце на летних полях. О мать, дитя своих детей,

пусть никогда не познаешь ты этой чужой, вражеской учёности! О мать, в этой учёности нет любви, ты же — сама любовь, улыбка твоя — рай, весёлый и солнечный, без чёрного древа познания. У тёплого домашнего очага осталась ты, мы же рано открыли дверь на чужбину и в холод».

Когда засыпал я и сны уже веяли надо мною своими крыльями, я всё ещё видел её бледное лицо и детски заплаканные глаза. Не знаю, склоняла ли она колени у моего изголовья, или у распятия, было ли то во сне, или наяву.

За месяц до смерти матери читал я «Крейцерову сонату». Горела лампа, полусонный я сидел у её постели и читал, как привык читать всякую захватывающую книгу: споря с писателем, как Иаков с богом. Я думал, что мать спит и, не глядя на неё, вытирал время от времени платком горячий пот с её щёк и лба.

Вдруг мать заговорила:

— Скажи мне, что ты читаешь?

— Немецкая книга... трудно тебе рассказать.

— Почитай мне!

Немецкий перевод «Крейцеровой сонаты» был тяжёл и неуклюж, я старался передать его по-словенски. Читал как будто полчаса, а когда кончил, — была уже полночь. Задумался. Сердце моё почувало туманные дали и глубокие пропасти искущённых сердец. Голос матери встряхнул меня и отогнал мои видения.

— Неправда! Неправда! Этого нет. Этого не может быть!

— Но ведь это только повесть, — изумлённо ответил я, — может быть, на самом деле этого и не было...

— Неправда! Неправда! — восклицала мать. — Это и есть чужая учёность... Она вошла тебе в

сердце, украла у тебя бога.... Теперь я её знаю!
Да помилует тебя бог!

Так сказала мать за месяц до своей смерти.

КАК Я СТАЛ СОЦИАЛИСТОМ

Это было в ту блаженную пору, когда сердце полно песен, а голова — надежд на блестящее будущее.

Жилось мне тогда плохо: чаще я бывал голоден, чем сыт, как это и полагается гимназисту из рабочей семьи. Но я не чувствовал и не замечал этих мелочей. Не знал я не только окружавшей меня жизни, но и собственной жизни не знал. Для меня существовала на свете одна лишь поэзия. Дороже старого отца был мне молодой Клопшток¹, и слаще материнских ласк сонеты Прешерна².

Политика не интересовала меня. Откуда-то издалека представлялась она мне чем-то склизким, чёрно-жёлтым³, ползающим по земле вроде сколопендры.

В те годы (1890—1894) по словенской земле широко разлился «вздыхающий компромисс», погасивший в нашем мещанстве даже и те немногие заветы, которые ещё держались в нём, те жалкие идеи, которые чахоточный словенский либерализм довёл до костылей. И так как я был молод, то по обычаю всех молодых людей мог оценить яичницу только на сковородке, но никак не в политике.

¹ Немецкий поэт, автор «Мессиады».

² Словенский поэт.

³ Цвет австрийского флага.

В те времена не было даже демократической клерикальной партии, а доктор Крек¹ ещё только воспитывал своих апостолов. О социализме я не знал ничего. О социал-демократии слышал, что есть такая секта, которая как бы отлучена от церкви и государства и за которой усердно следят полицейские и прокуроры. Иногда произносилось имя какого-то «портного», о котором поборники порядка говорили, что он или сумасшедший, или бандит, а может быть, и то и другое вместе. Это был Железникар². Теперь каждому рабочему или студенту покажется удивительным, как это могло статься, что пятнадцатилетний юноша, не дурак и чему-то уже обученный, не знал ничего о такой важной вещи, как устройство человеческого общества, и вообще ничего не понимал в той самой жизни, которая была и его самого до крови. Это трогательное невежество являлось даже не следствием, а главным законом, духом и содержанием австрийского школьного воспитания.

Все знания, какие удавалось приобрести австрийскому учащемуся, были подобраны им украдкой по дороге, ибо домашнее воспитание давало очень мало, а школа—ничего. Многие утверждали, что школы, которыми покарал нас австрийский бог, препятствуют духовному развитию человека, заколачивают его ум и загоняют его в столь тесную тюрьму, что, хотя и ставят они своей целью воспитывать чиновников, но, кроме писарей, из учеников ничего не выходит. Поэтому и получалось, что юноша, сдавший эк-

¹ Общественный деятель и основатель партии «христианского социализма».

² Один из первых организаторов рабочего движения в Словении.

замен на аттестат «зрелости», был напичкан всякими науками, но мир, с которым он связан всеми нитями своего бытия, оказывался более незнаком ему, чем звёзды и луна. Живут среди нас люди высокообразованные, а спроси их о жизни — и заплачешь от смеха и жалости.

Когда я окончил реальное училище, мне были хорошо известны все обстоятельства жизни римского императора Нерона, но истории словенского народа я не знал. Изучил я и развитие аграрного законодательства в римской республике, но не было мне известно избирательное положение, установленное для Краинской общины.

Как-то в сильный мороз, когда я топтал снег по дороге, идущей от Любляны до Врхники, меня нагнал около Березовицы некий почтенный «народолюб» и пригласил в свои сани. По пути разговорились мы, и он сообщил мне о существовании книги под заглавием «Чёрная книга крестьянского звания», которую написал доктор Крек. Народолюб был того мнения, что книга хорошо написана, но что она опасная, «бунтарская книга» и может испортить простого человека.

Мне удалось вскоре достать эту книгу и прочесть её. Вот при этом-то чтении и обнаружились все недочёты моей учёности. Места, которые понял бы простой умный крестьянин, мне пришлось перечитывать по два раза. В результате этого чтения я начал понимать, что не всё обстоит ладно на белом свете. Об этом я смутно догадывался и прежде, в дни своего детства. Несправедливость, которую подметит ребёнок, случайная или нарочитая, врезывается в юное сердце, и не вырвать её оттуда ничем. Она делает ребёнка зрелым и насильно приоткрывает ему глаза на неясные тени тех ужасов, которые позже развернутся перед ним во всей их жестокой наготы.

Несправедливость была мне не в новинку, я испытывал её на себе, даже с излишком. Чувал я в ней что-то противоестественное, античеловеческое, но разобраться как следует в своих ощущениях ещё не умел. Всё сводилось к горькому чувству неудовлетворённости, которое искало выхода и, казалось, нашло его в увлечении литературой.

То, что я видел и испытал: несправедливость, злоба, подлость людская, суровая, дикая жизнь—переполняло меня болью и отвращением. И вместо того чтобы осмотреться и разобраться, я сбегал в поэзию, о которой думал тогда, что она вырвана из «неприглядной ежедневности» и пребывает на солнечных высотах. Жизнь билась меня до крови, я же пиликал гладенькие стишки. Хотел быть таким, как королевич Марко, который преспокойно пил из своего бокала, когда чёрный Арапин колотил его по плечам своим буздованом.

Первые годы пребывания в Вене (1896—1900) проходили для меня, как и для всей так называемой интеллигентной молодёжи, под знаком литературных боёв и горячих диспутов. Газеты, где теперь не сообщают даже и кратких сведений о новых книгах, помещали тогда длинные статьи по литературным вопросам, и находилась публика, которая даже читала эти статьи. Это уже было не только бегство. Окружающая жизнь не заслуживала ничего, кроме ненависти и презрения, и вызывала общее недовольство, которое должно было найти себе отдушину и нашло её в литературе. Отсюда и чрезмерная горячность литературных схваток, не отступавших и перед личными оскорблениями, явно несправедливыми. Борьба тех лет принесла большую пользу литературе, подняв её из мертвящего болота на неожидан-

ную высоту и оплодотворив её многими новыми семенами.

Но много было учащейся молодёжи, которая, не найдя удовлетворения в художественной литературе, почувствовала, что на свете существуют вещи поважнее поэзии, что необходимо познать те силы, которые дают на жизнь человека, народа, всего человечества, а не только вздыхать и мечтать о звёздах. Некоторые из этой молодёжи в своём протесте против господства литературы зашли так далеко, что отвергали её совсем и стали отрицать значение её для народа как культурной силы, осудили её как вредное наркотическое средство. Были и такие, кто уверял, что придёт время, когда «мягкотелую слезливость, называемую словенской литературой, ни одна собака не станет нюхать».

Студенты уже давно «политиковали», но до сих пор это была лишь невинная забава, так сказать, «одушевление» и «ура», преимущественно на каникулах. Партия «национальной программы», представлявшая мелкое мещанство Словении, уже давно гнила и смердела. Наша мелкая буржуазия, так и не став особо культурной, не созрела и политически и продолжала путано и без цели топтаться на месте. Молодёжь, почувствовав, что так дальше продолжаться не может, храбро и самоуверенно принялась за «политику» отцов и разбила её наголову. Цель этой молодёжи заключалась в том, чтобы освежить старую прогрессивную партию, углубить, оплодотворить новыми идеями её программу, вывести её из читальных, танцевальных зал и гостиных комнат в гущу народа. Но при поисках путей, какими должно было произойти это воскрешение партии, начались пререкания и раздоры. В результате возникло множество течений, струи которых бурно

перепутались. Очень хорошо знаю, что многие молодые люди, за исключением некоторых карьеристов, были благородные пламенные идеалисты, действительно хотевшие блага своему народу. Но благородство в помыслах и желаниях бессильно само по себе, когда нет других, более крепких основ, когда по недостаточности школьного и домашнего образования у людей нет ни знаний, ни мастерства, ни умения. Все начинания этой молодёжи, по существу, сводились к тем же выкрикам «ура», но только с ещё большей силой, которые звучали как призыв к храбрости. Кончилось тем, чем всегда и везде кончается в подобных случаях: идеалисты устали, отстали, остались позади, карьеристы же пожали плоды их усилий, а прогрессивно-буржуазная партия не только не углубилась и не омолодилась, а понеслась неудержимо по наклонной плоскости вниз, как ей и было предназначено.

Жил я тогда в XVI районе Вены, похожем на громадную мастерскую. Был этот район не только цитаделью социал-демократов, но и кварталом бедноты и очагом туберкулёза. Там изо дня в день мне пришлось наблюдать нечто такое, что заставило бы призадуматься даже злодея или дурака. Несправедливость общественного порядка разоблачалась там, прямо на улице, до полной наготы. Зимой, в мороз и снег домохозяева выбрасывали на улицу семьи безработных рабочих и кустарей за невзнос квартирной платы. Видел я человека, упавшего в обмороке на мостовую; его приняли за пьяного, но потом оказалось, что он умирал от голода, как это выяснила подобрывшая его «скорая помощь». Сам я жил у портнихи, которая шила мужские галстуки. Работала она ночи напролёт, и не одна: дети помогали ей, приходя из школы. Зарабатывала от двадцати до

тридцати крейцеров — шестьдесят талеров за дюжину. Если же торговец был чем-нибудь недоволен, он удерживал из этой суммы, сколько ему хотелось, ибо голодных работниц было сколько угодно. Зимой она ещё кое-как сводила концы с концами; но летом, когда не было работы, начиналось паломничество в ломбард, куда несли всё, что можно было унести: сперва скромную роскошь работницы — кольцо, серьги, потом платье, бельё, штука за штукой. Эта семья ещё считалась среди соседей «лучшей», вероятно, потому, что она обедала каждый день и не болела туберкулёзом.

Ужасы, которые я сам переживал и ежедневно наблюдал у других, были признаками одной и той же тяжкой болезни. Человеческое общество, чувствующее сознательно или подсознательно эту болезнь — как собственный грех, пытается время от времени стереть отдельные её проявления и даже чем-то подлечить больного, но ничто не помогает, и заражённое его тело продолжает гноиться всё больше и больше. Социальное неравенство, при котором все богатства земли, все плоды человеческого ума оказались в руках капитала, — вот источник этого зла. Осознание этого факта углубило и обострило то чувство горького недовольства, какое я уже давно испытывал.

Я говорил уже, что, как большинство интеллигентов, я знал о социал-демократах только то, что писалось о них в буржуазных газетах. Я должен был верить, что социал-демократия оптом и в розницу ежедневно «продает народ», всякий народ и все народы вообще, что она доводит рабочего до безработицы и заражает его безбожием, обещает ему рай на земле, хотя прекрасно знает всю нелепость такого обещания, что

вожди её живут за счёт рабочих и т. д. Я никогда не питал доверия и уважения к буржуазной прессе. А тут ещё я сделал интересное открытие: научился отличать организованного рабочего от неорганизованного. Отличал я их уже издали, и не только по красной гвоздике или галстуку кровавого цвета, но по их походке, одежде, выражению лица, манере держаться. Возможно, что организованному рабочему жилось не лучше других, возможно, что он тоже испытывал тяжесть безработицы; и тем не менее во всём его поведении чувствовались гордость и уверенность в себе, вера в своё будущее, то есть то, чего до проклятия мало в словенцах.

Сидел я однажды в венском кафе и читал «Neue Freie Presse», орган венской и австрийской интеллигенции всех национальностей и всех верований. В передовице говорилось о забастовке, во время которой дело дошло до драки и даже до крови. Автор подконец патетически восклицал: «Таковы аргументы Шварцшпанерштрассе!»

Прямо из кафе я направился на Шварцшпанерскую улицу, чтобы посмотреть, что там делается и какие такие аргументы там процветают. Увидел я длинный ряд окон, расположенных на уровне мостовой. В этом обширном подвале помещалась областная газета австрийской социал-демократии «Arbeiter Zeitung».

Вскоре я понял, что аргументы Шварцшпанерской улицы весьма отличаются от аргументов Морица Бенедикта, автора передовицы, проживающего на Фихтегассе. Я почувствовал то, что ещё острее осознал позже, когда уже читал научные книги о социализме, а именно, что социализм не чужое и новое евангелие, а мои собствен-

ные переживания, и что история и наука только объяснили мне опыт моей жизни.

Таков в общих чертах тот путь, каким приходит «учёный» человек к социализму, ибо не только мне, но и другим пришлось перелезть девять раз через девять заборов, поставленных на нашем пути школьным обучением и святыми изречениями, пока тягость жизни, а затем и научное сознание не взяли перевес над «прогрессом и постепенностью» и не направили нас к цели, достойной ума и сердца человека. Политические убеждения и мировоззрение, которые человек сам завоевал, драгоценнее всего на свете, и никакая сила не может их отнять.

ПОЛИЦЕЙСКИМ ПОЛЕЗНА ГИМНАСТИКА

Его широкое, полное лицо расплывалось в приветливой улыбке:

— Наигениальнейшему художнику не выдумать такого сюжета, какой встречается иногда в самой обыденной жизни... Расскажу тебе эту удивительную историю... Несовершеннолетний мальчик, ребёнок, воровал... Не сказано, что, как и где он воровал... И присудили его к двадцати четырём часам тюрьмы. Случай обычный и пустяковый.

— Обычный и пустяковый!

— Да, но у него была и обратная сторона. Ребёнок спрятался, чтобы укрыться от правосудия, надуть его, не очутиться в тюрьме. Правосудие сначала терпеливо ждало, наконец, рассердилось и решило послать за преступником полицию. Но бумажное сердце правосудия было настолько тёплым и милым, что оно выбрало для этого неприятного дела самого толстого полицей-

ского, добродушного размазню, который тяжело сопел и ничуть не был похож на палача. Вызвал он преступника при учителе из класса и направился с ним среди белого дня по перекрёсткам шумных улиц к дому правосудия. По дороге он сказал мальчику:

— Не поведу я тебя за руку, малый, чтобы люди не оборачивались и не было бы тебе стыдно, хотя ты и заслужил то, что получаешь. Иди впереди меня на два шага, вот так, только смотри не удирай никуда, потому что, видишь ли, я слишком тяжёл, чтобы тебя ловить!

Едва мягкосердечный полицейский проговорил это, как преступник затерялся в толпе, мгновенно и бесшумно, как белка в листве. Толстый представитель правосудия остолбенел от удивления. Потом плюнул и направился без замедления... Куда? Конечно, в дом, где жил мальчик. Куда же ещё мог убежать ребёнок, попавший в беду?

Придя в дом, где жил мальчик, толстяк-полицейский спросил его мать:

— Где ваш сын?

Мать посмотрела на него сердито, отвернулась и ответила:

— Ищите!

Полицейский обвёл взглядом комнату. Искать пришлось недолго: из-под кровати торчал потрёпанный ботинок злодея.

— Малыш, сдавайся по-хорошему, а то будет плохо!

Малыш медленно подтянул ботинок.

— Ещё раз тебе говорю: вылезай!

Под кроватью было тихо, даже дыхания не слышно. Мать стояла у окна и молча смотрела на улицу.

Полицейскому было жарко от длинного пути, от гнева и озабоченности.

— А теперь представь себе картину происшествия, хорошенько всмотрись в неё, потому что такой ты ещё не видал! Представь прежде всего комнату: она тесна, бедна и угрюма, потому что видала много страшного. В углу стоит кровать, такая низенькая, что под неё с трудом может пролезть только худой и хрупкий ребёнок, как раз из тех, которые воруют. И по середине этой заброшенной, серой, холодной тесноты громоздится гора такой величины, что стены в испуге расступаются перед ней. Эта гора хрипит, лыхтит, истекает жиром. Она наклоняется, сколько может, упирается обеими руками в скрипучую постель, становится на колени и обливается потом.

— Да ну, шевелись, грязнуля! Не видишь, что ли, что я не могу тебя достать!

Из-под кровати ни звука.

— Эй, вы там, женщина, позовите его! Полежайте за ним!

Мать не поворачивается. Говорит:

— Не моё дело! — и продолжает смотреть на улицу.

Глубоко вздыхая, полицейский нагибает голову к самому полу и шарит рукой под кроватью. Рука пролезает только до локтя.

Кровать шатается и жалобно скрипит.

— Смотрите, свалится на ребёнка! — предостерегает его мать.

Полицейский ругается и переползает на коленях на другую сторону кровати. Мальчик, почуввав опасность, отодвигается от края.

— Почему же ты не смеёшься?

— Я смеюсь... в душе! Рассказывай дальше!

— Наконец он схватил злодея за ногу. Схва-

тил и потащил к себе. Ребёнок упирался. Тонкими ручонками держался за ножку кровати, пока не изнемог и не выпустил её. Но и тут не сдался. Брыкался, кусался, царапался. Полицейский потел, задыхался, но продолжал тянуть, пока не вытащил на свет божий запылённого, взъерошенного мальчишку.

— Почему же ты не смеёшься?

— Охотно бы, но... что это, уже конец?

— Разумеется, конец. Потом всё пошло по-обычному, как и сначала. Пригласили к судье обоих: и мать, и ребёнка. Полицейский был главным свидетелем. Судья был добрым человеком, он пошутил и сказал, что гимнастика очень полезная вещь для упитанных людей, и отослал обоих злодеев домой...

— Это ещё не конец! На картине не видно лица ребёнка, когда он прятался под кроватью.

— Ребёнка уже не было, а были глаза старика, в которых стоял ужас. Как же это ты не заметил этих глаз? Никогда больше не будут они смотреть доверчиво и никогда не будут смеяться. Судья позабудет эту весёлую историю, полицейский умрёт, меня с тобой тоже не будет больше в живых... а по дороге всё ещё будет ходить человек с опущенной головой и свирепыми глазами; тот, кто встретится с ним, пугливо отойдёт в сторону. А лицо матери ты тоже не видал, когда она смотрела в окно?

— Я представляю его себе, вероятно, оно было ужасным...

Друг задумался, потом вздохнул, как вздыхает человек, когда читает некролог.

— Люди умирают по-разному, — сказал он, — иногда даже не пролив ни капли крови.

ЧЕЛОВЕК С ТОГО БЕРЕГА

I

Давно я его не видал, много лет, и даже думать о нём забыл. Мне казалось, что и жил-то он только в старых полузабытых книгах, так сказать, только в своём надгробном памятнике. Может быть, и есть ещё на свете кто-нибудь, кто любит его, беднягу, кто верит и знает, что он когда-то был действительно живым существом или хотя бы похожим на таковое. Показывался он сразу в разных слоях общества, имел множество наименований, и, хотя по выражению лица, по манере говорить и смеяться его можно было принять за нескольких различных людей, тем не менее он был существом единым и неделимым. Тот, кто замечал его перед собой, как бы возникшего из одиночества, обычно пугался, потому что видел в нём своего двойника, видел в нём собственные скрытые мысли, похожие на спрятанные червонцы, свои скрытые желания, о которых стыдно говорить открыто. Я встретился с ним в то время, когда сердце моё было подавлено, как никогда, когда оно уже испытало всё, что полагалось ему испытать за всю его жизнь. Может быть, бог послал мне его в утешение как зеркало, в котором я мог бы усмотреть всю никчемность моей горести.

Высокий и тощий, как привидение, встал он на пороге моего дома такой же, каким я видел его пятнадцать лет назад. И пальто у него, наверное, было то же самое, столь же, как и раньше, поношенное. Ботинки и брюки были в грязи, потому что стояла скверная погода. Протянул он руку и улыбнулся всё той же детской милой улыбкой, какая была свойственна его лицу и его душе.

— Узнаёшь меня? — спросил он.

— Конечно! Ты — Стефан Полянец... или как тебя зовут?

— Стефан Полянец?.. Всё равно! Подумай, на улице слякоть, дождь, надвигается ночь, а у меня нет ни крова, ни ужина.

— Разве ты ещё не привык к таким неприятностям?

— Человек привыкает к дождю, а всё же ищет, где бы от него скрыться. Привыкает и к голоду, а всё же ищет, где бы поесть. Таково несовершенство человеческой природы.

Он присел, и я был рад его присутствию. Более спокойным и более зрелым, чем раньше, показался он мне. Из глубины тёмносиних его глаз светилась удовлетворённость десятого¹ брата. Длинной и костлявой рукой он взял стакан. Я, растроганный, рассматривал его целых пятнадцать лет, — это не шутка! И каких лет!

— Удивительно, что я встретил тебя именно теперь, в такое тяжёлое время. Ты не обижайся, но мне кажется, что ты ровно ничего в нём не понимаешь, и если раньше ты только казался людям камнем преткновения, то теперь ты стал им бесспорно; и если ты и раньше лежал в гробу, то теперь лежишь на целую сажень глубже. Ведь то, чем ты был прежде, было только тенью и сновидением, но давно уже прошли, о путник, весёлые времена теней и сновидений.

Он посмотрел на меня с наивным удивлением.

— Как раз наоборот! Ещё никогда моя нога и моя мысль не были так легки! Никогда! Даже в те прекрасные дни, когда был в чести тот, кто

¹ Десятый брат или сын в семье, по мнению словенцев, всегда неудачник и скиталец.

был создан из теней и сновидений... Закажи мне ужин, я голоден.

Я заказал ужин. Когда, вернувшись, я бросил взгляд на комнату, она показалась мне тесной и тёмной, одновременно померкшей и милой. В тёмных углах видны были очертания бледных лиц, впадины их угасших очей; под закоптелым потолком, около тусклого фонаря, плавали печальные мысли, стыдливо прячась в свою напуганную невинность, а в окно тихонько постукивали их дорожные подруги, приглашая их с собой.

— Только теперь я по-настоящему дома, в эти тяжёлые времена. Ты говоришь, что я чужой! Нет, теперь я — близкий. Вспомни, раньше я был чужим везде и для всех: принимали меня или прогоняли, я всё равно был чужим! Какая была моя наилютейшая боль: от голода? от жажды? от холода? Моя самая горькая боль была от моего одиночества! Что же наслаждением было в моём страдании? Наслаждением было одиночество! Теперь нет больше ни боли, ни наслаждения. Потому что товарищей у меня теперь хоть отбавляй, таких товарищей, чью жажду я могу утолить, — я, сотворённый из тени и сновидений и сам жаждущий утоления. Весь этот мир, на который смотрят мои перерождённые глаза, сотворён из теней и сновидений. И меня, который рождён в нём, иногда берёт страх, ибо только тень по-настоящему знает, насколько нужен миру свет.

Ужинал он молча, охваченный думами. Кончив ужинать, он снял и положил свою шляпу на стул, потому что ему стало жарко, и тогда я увидел над его большим лбом лысину. Он пригладил редкие пучки потных волос, расстегнул пальто и поправил на шее красный галстук,

склонил голову и с вниманием прислушивался к плеску дождя по окнам.

— По ночам дождь поёт совсем особую песню. Невесёлая, но сладкая эта песня: под неё человек вспоминает людей, которых любил и которые спят в далёком одиночестве где-то там, по ту сторону ночи. Снаружи такая тьма, что даже страха не видно; если бы я теперь пошёл через поле, я запутался бы в бороздах, да ещё и запутаюсь, если выпью стакан вина, а я его вылью непременно. Послушай, как гудит южный ветер на открытом месте; он плеснул бы мне в лицо целое ведро воды, а я бы смеялся и боролся с ним на дороге, идущей через болото. Ветер отнял бы у меня шляпу, вот этот бедный платок и даже пальто, потому что, смотри, оно держится только на одной пуговице. Натешившись и насмеявшись в этой борьбе, я, может быть, смог бы прозреть и найти дорогу. Там, на краю дороги, немножко в стороне, знакомая хибарка. В этой хибарке живёт женщина, которую я уважаю. Часто приходит мне мысль стать на колени перед нею и попросить прощения за своё ничемное поведение, ибо терпение её сверхъестественно. Случалось так, что она иногда не слышала, как я стучался и просился к ней. Тогда я прислонялся к стене хибарки и, стоя, засыпал под водосточной трубой. Но этой ночью так ослабели мои ноги и сердце, что не захотелось мне идти к ней через поле. Товарищ, не постелишь ли ты мне постель?

Он протянул свои длинные руки над столом, и я заметил на запястьях их красные шрамы.

— Чем ты поцарапал руки, и в таком странном месте?

Улыбаясь, он отвернул рукава, смиренно сложил губы и скорчил такую гримасу, какая бы-

вает у человека, рассказывающего непристойный анекдот.

— На удачном месте, душа моя... И хорошо, что не на шее. Прошло мимо, а было очень близко...

II

Ночью он проснулся, приподнялся на локте и сказал:

— Посмотри, товарищ, посмотри на мои ботинки, они сбоку дивана.

Посмотрел я на его ботинки: были они очень грязны и широко зевали.

Он спросил:

— Ты хорошо осмотрел и честно продумал эти грязные символы? Когда-то я был влюблён. Так искренно и весело влюблён, как это описывают в сказках и как это бывает только в молодости. Звали её Францка. Она была красива: когда вспоминаю, замирает сердце. Каждая моя мысль была тогда песней, каждое желание молитвой. Тогда я был безгрешен, не знал ещё, что такое похоть и ложь. Потому и судил о себе плохо: считал, что глуп и неуклюж. В смиренных стихах просил я Францку взглянуть на меня и молил выйти вечером в сени. Эту неслыханную милость просил я ради стихов, просто так, совсем не надеясь, что это может когда-нибудь случиться в действительности. Так молит христианин о рае, в глубине души не веря в этот рай, как не верит человек и в смерть. Но Францка ответила, что придёт. Если бы она велела мне скрыться с позором, то такой ответ показался бы мне справедливым, но она написала, что придёт. На эти её слова я взирал, как язычник на святыню, и долго их сохранял, пока не растерял на

дорогах. Я перечитывал их всю ночь и весь день, но с трудом понимал. Это было, как если бы ребёнок, глядя на небо, позвал светлую утреннюю звезду: «Звёздочка, приди ко мне!», и звёздочка действительно пришла бы к нему.

Вечером я стоял в сенях. За пустынными домами по ту сторону реки садилось солнце. Оно сияло в жёлто-румяных волнах, и от него тянулась длинная светлая полоса, тянулась до самых сеней. Я тщетно старался избежать этой светлой полосы: прижимался в угол, прислонялся к дверям, садился на корточки у лестницы,—проклятая полоса всюду следовала за мной, как бы нарочно освещая мои ноги. В тот день не было ни пыли, ни грязи, поэтому человек вынужден был откровенно показывать всю обувь. Мои ботинки были заплатаны, а на правом заплата отскочила и как-то странно торчала вбок. Мне хотелось её скрыть, но чем больше я старался это сделать, тем заметнее была заплата. А солнечный луч смеялся над нею, поглаживал её, показывал всему свету.

Пришла Францка. Тихи были её шаги по лестнице. Тиха и мила была её улыбка, когда она поздоровалась со мною. Я не могу вспомнить, что она мне тогда сказала. Никак не могу. Потому что солнечная полоса всё время кружилась около моих ног, около моего сердца, около моей любви. Из моего светлого счастья всё время торчала чёрная заплата. С чем я пришёл, с тем и ушёл. В наисчастливейший час моей жизни встал предо мною разоблачённый лик «нужды».

Я уже засыпал.

— Не погасить ли свет? — спросил я путника.

— Погаси, если хочешь... Много позже, когда я стал взрослым, я опять влюбился. Эта жен-

щина была-бы достойна своего мужа, не меня, который лишь тень, лишь мысль о нём. Её красивые губы любили, не меня, а его... Преданно и верно любили, хотя их целовал только весенний ветер и аромат резеды. Гулял я как-то с ней по Вене.

— Разве ты был когда-нибудь в Вене? — удивился я.

— Гулял я с нею по Вене. День был чудесный и ясный, но улицы грязные, потому что венские улицы всегда грязны.

Я чувствовал её рядом с собой, иногда я дотрагивался до неё. Всё во мне бродило и бурлило, как во влажной весенней земле. Дошли мы до улицы, широкой и залитой водой, как Красное море. Тогда я взял её за руку:

— Ни шагу дальше, дорогая!

Она удивлённо посмотрела на меня карими глазами.

— Почему?

— Вот почему, дорогая: когда-то я был молод и не знал ещё ни лжи, ни вожделения. Эта невинность привела меня к несчастью. Был приготовлен для меня великий праздник, но я опоздал на него, потому что смотрел не на звезду, а на землю у моих ног. Не видел я прелестных глаз, а только чёрную заплату на ботинке. И эта заплатка стала знаменем моей жизни, она же будет вырублена на моей могильной плите. Что бы я ни делал, что бы ни рассказывал, о чём бы ни думал — заплатка всегда у меня перед глазами: моё унижение, моя никчемность, моё неверие в себя... эх, и даже в это чудесное вино любви мне налили тёпленькой водички.

— Почему, путник, рассказываешь ты мне эти ужасные вещи? — удивлённо спросила она.

— Потому что мы стоим перед морем и не

можем его перейти. Посмотри на мои ботинки. Всем сердцем я люблю тебя, но я уже больше не юноша и не пойду босиком через море. Дай руку на прощанье и не поминай меня лихом!

Она громко рассмеялась и пошла своей дорогой.

Я уже видел сон. Мне снился мой путник, был он близко и в то же время очень далеко от меня. Очень красив он был, но когда я всмотрелся в него, он вдруг нагнулся и утонул, остался только один ботинок.

Это был огромный ботинок. Он заполнил сперва мою комнату, а затем и весь мир. Он наступил мне на грудь и ударил меня в горло с такой силой, что я проснулся.

— Зачем ты мне рассказываешь такие страшные вещи? — воскликнул я.

Но, когда я осветил моего гостя, он спал улыбаясь.

III

Утром, очень рано, он уже сидел на постели и грыз яблоко. Глядел в окно и весело жмурился навстречу раннему солнцу, которое раздвигало туман. Лицо его было свежо и ясно и выражало невозмутимое спокойствие.

— Вчера ночью я рассказал тебе историю о ботинках. Это — история моей жизни. Разве ты не пьёшь чай по утрам? Закажи и для меня! Как тебе уже известно из истории с ботинком, никогда я не вкушал ни чистой радости, ни чистой печали. В горе моё, когда оно было наиболее красивым, всегда откуда-то попадал плевок ядовитой слюны, от него моя чистая печаль становилась столь же отвратительной, как и оплёванная радость. Радость может стать хорошей служанкой, были бы только у неё красные щёки и

быстрые глаза, страдание же — это величаявая госпожа, у неё и причёска и руки должны быть безукоризненны.

Он пил горячий чай, раздувая ноздри и глядя куда-то в сторону.

В промежутке между длинными глотками он говорил мягким голосом, как будто рассказывал о каком-то особенно приятном событии:

— Ты спрашивал, откуда у меня эти шрамы на руках. В начале зимы я задержался там, в горах, в той уютной хибарке, которая всегда широко распахивает свои двери, когда бы я ни постучался. Сажу я в каморке, которая хоть и низка и тесна, но зато в ней тепло, и время от времени бросаю полено в печку. Тогда смеётся красное пламя на почерневших балках потолка, и становятся видны чисто выбеленные стены с иконами в углу, глиняный пол, большой стол со скамьями и распятие над ним. Лампы я не зажигаю, потому что сны читаю я без огня. Ты ведь знаешь, что слаще всего спится тогда, когда снаружи льёт холодный дождь попеременно со снегом, когда ночи темны и пути бесконечны. Смотрит путник на них из тёплой хижинки и смеётся: «Не хочу сегодня к вам, дорожные товарищи мои, заходите лучше сюда, ко мне!»

Только я так весело подумал, как что-то застучало, забарабанило в двери и так сильно, что дверь задрожала и пошатнулась в петлях.

— Кто ты, такой силач? — спросил я и побежал отпирать дверь. На пороге — двое жандармов, закутанных в длинные шинели, и с ними пара сверкающих штыков. У жандармов с их ужасных усов стекали капли дождя.

Угрюмо посмотрели они на меня.

— Ты Стефан Полянец?

— Я.

После этого они перевернули всё вверх дном, перерыли мою милую бедную хату. Из-под печки выскочила потревоженная мышь и заметалась в ужасе из угла в угол. Подконец жандармы вывернули мои карманы, они были пусты и дырявы, так что мне стало стыдно.

Предложил я им вежливо, как полагается, отдохнуть и согреться, ведь на дворе такая непогода. Но даже слова не сказали они мне в ответ, не обратили на мою вежливость никакого внимания. Зазвенели тонкие ручные кандалы, я опустил голову и стал преступником. Взглянул ещё раз на затопленную печку и с покорным сердцем перешагнул порог.

— За что? — воскликнул я поражённый. — Почему схватили тебя, беднягу?

— Я задавал себе те же вопросы, но только позже, в ту ночь мне было не до вопросов. Если бы ангела, посланного с небес, заковали в ту ночь в кандалы, то и ангел почувствовал бы себя грешником.

Как только вышли мы на дорогу, дождь и снег ударили меня по лицу с такой силой, что другой человек мог бы от такого удара даже при солнечном свете оказаться незрячим. Даже жандармы и те обрели человеческую речь. Один из них сказал: «Чорт!», другой ответил тем же. Это было единственное слово, которое я услышал от них за всю дорогу.

Они были похожи на того сквернословия, которого бог наказал ещё при жизни тем, что лишил его возможности говорить что-либо иное, кроме ругательств. Заходит он, например, в лавку, хочет спросить себе водки, а вместо того говорит кабатчику: «Чорт проклятый».

Мои ботинки были мокры и облеплены грязью, как старая половая тряпка. Я уже их не

чувствовал и шёл, как босиком. По грязи ведь легче ходить босиком, чем в дырявых ботинках. Жандармы вышагивали, как цапли, чмокали и хлюпали тяжёлыми сапогами, и, наверное, каждая лужа обрызгивала их до самых усов.

Но я не видал этого, я не видел ничего: ни жандармов, ни дороги. Тогда забавная мысль осенила меня — удрать! Попробовал вытащить руки из кандалов, дёргал их, мотал ими, извивался — не удалось. Беда в том, что раньше не приходилось иметь дело с кандалами. Поранил только себе кожу — вот отчего и шрам на руках. Но удрать мне всё же очень хотелось, и не потому, что я боялся наказания, а просто так, из озорства. Ночь была тёмная, дождь шумел, жандармы шлёпали, как цапли; я мог бы потихонку присесть на корточки у края дороги, и они бы так цаплями и прошлёпали дальше. Представь себе их испуг, когда они дошагали бы, наконец, до света: вместо человека пригнали тень, даже не тень, а просто ничто!

И при воспоминании об этой весёлой мысли путник звонко рассмеялся.

— Куда тебя погнали и что с тобой сделали? — спросил я его озабоченно.

— Ничего плохого. Гоняли меня туда и сюда, и взад, и вперёд, и накрест, пока не выяснили, что я, как ты говоришь, только тень и сновидение, а ведь тени — безгрешны...

Важно то, что всё это время я был самым счастливым человеком на свете — таким счастливым, каким сроду ещё не бывал. А самое главное то, что иначе моя история о ботинках была бы неполной, как вешалка без пальто. Посмотри на них, поплачь над ними! Видишь, как свесили они свои головы, как сжались, бедные, как

ищут, истоптанные, куда бы им укрыть своё достоинство и свою гордость.

Много видел я с тех пор бедняков, но чуждо мне чувство злорадства, хотя я имею на него некоторое право. То, что мне суждено на всю жизнь, то, что терпеливо носил я по всем моим дорогам — это им уделил бог на один лишь миг, и они всё же изнемогли и пали ниц. В унижении, под кнутом неизвестности, непрестанно бичующим их, в отравленном воздухе лжи, позора и рабского послушания они переживают долю страшнее моей! Блуждающие сны, которые не дают уснуть усталым очам, огромный заплатанный ботинок с силой ударил по их жизни, и она никогда больше уже не станет чистой.

Когда я всё это увидел, разглядел, пережил, с моих плеч свалилась тяжесть. Я выпрямился и расправил плечи: единственный среди всех я стал свободным и чистым.

— Где ты их видел, эти существа из тени и снов?

— Окно не занавешено, посмотри на улицу.

Он отхлебнул последний глоток чая, завернулся в пальто и протянул мне длинную руку.

— Ну, прощай! Встретимся вскоре опять, если не в другом месте, то в зеркале.

Засмеялся и стал, весело посвистывая, спускаться по лестнице.

БАТРАК ЕРНЕЙ И ЕГО ПРАВО

Эту историю я рассказываю вам так, как она происходила на самом деле, со всей её кривдой и великой печалью. Никакой лжи, никаких красивых слов, никакого лицемерия!

Изумились люди из Бетайновы и робко склонили головы, ибо что-то поднялось на горе и шагнуло в долину, как чёрная смерть. Большая, бесшумная тень шагнула в долину: голова тени— туча, ноги—тополи на поляне, а стальная коса на плече сверкала до самой Любляны¹.

I

Старого Ситара похоронили. Царство ему небесное, добрый был человек! Отзвонил колокол, священник переоделся, и с похорон пошли в корчму. Сели за длинный стол у Стержинаря, все в чёрном, озабоченные и задумчивые, женщины заплаканные; батрак Ерней, высокий, старый и седой; сел на скамью у окна, обтёр лоб красным платком и вздохнул:

— Все там будем! Думаю, я первым отправлюсь по его стопам!

Все промолчали.

Тогда отозвался молодой Ситар:

— Ну, Ерней, расселся ты широко и важно, как хозяин. А кто здесь наследник, ты или я? И первое слово мне, а не тебе!

Ерней улыбнулся, и глаза его весело заиграли:

— Всегда был ты шутником и задирой, Тоне, таким и останешься. Но это хорошо, и мне нравится, что горе не придавило тебя: бабам слёзы, а мужчинам вино.

Налил всем вина, поднял свой стакан, но никто не последовал его примеру. Ерней поставил стакан на стол, не прикоснувшись к вину. Взглянул с недоумением на хозяина и на его челядь и увидел одни хмурые лица.

¹ Любляна — столица Словении.

— Что же это, к цыганам или торгошам я попал, что вы смотрите и ничего не говорите? С нашей ли челядью сижу я, или с иблайтарами¹, сговорившимися меня обмануть?

Ситар возразил:

— Не ругай нас, батрак, торгошами и иблайтарами. Вина ты ещё не отведал, а уже пьян!

Трижды оглядел Ерней челядь, каждого в лицо, потом схватил стакан и вылил вино в бутылку; медленно и долго выливал, так как рука у него дрожала. Потом встал, снял с гвоздя шляпу и взял её обеими руками. Высокий и сгорбленный, стоял он за столом. Как ни был он сгорблен, всё же седая голова его едва не касалась почерневшего бревна под потолком, загорелые небрежно выбритые щёки были в морщинах, живые глаза горели под густыми бровями.

— Нехорошо поступаешь, хозяин, и вы, челядь, некрасиво делаете, дорогие мои, что пожалели мне каплю вина на тризне. Да благословит бог то, что вы будете есть и пить, — не завижусь вам. Если таков новый закон, я повинуюсь ему: молодому — хлеба, старику — камень, здоровому — рыбу, больному — змею, отдохнувшему — яйцо, уставшему — скорпиона! Не полагается батраку нарушать то, что установил хозяин.

Молодой Ситар, человек вспыльчивый, покраснел от гнева.

— Не нуждаемся мы в твоих проповедях, Ерней! Коли вино тебе не по вкусу, бог с тобой!

— Гордый ты, Ерней, хочешь быть хозяином над хозяином! — сказала Ситариха.

— Вверх тормашками дом, где батрак на за-

¹ Сборщики налогов.

печке сидит и сапоги об хозяйскую спину обтирает! — вставила теща.

— Вверх тормашками воз, когда тащит его хозяин, а батрак держит вожжи, — подтвердил свояк.

— Вверх тормашками хозяйство, где лашет хозяин, а батрак сидит себе в тени, — добавил сосед.

Когда всё было сказано, Ерней ещё раз поклонился.

— Разумно всё, что вы сказали, и как будто никакой несправедливости нет в ваших словах. И потому да благословит вам бог еду и питьё, а мне спокойную совесть и жизнь без греха!

Так сказал Ерней, плюнул на порог и вышел.

II

Пошёл он прямо по тропе через поле, вдоль ручья, почти высохшего и терявшегося в белом леске. Был жаркий и тихий майский день; надвигалась ранняя гроза. Она уже была за зелёной горой; всё молчало на лугу и в поле; земля как бы боялась несчастья и не смела дышать.

Когда Ерней увидел издали, под холмом, белый дом с зелёными окнами, и хлев, и сарай, и амбар, грустно стало ему. Не было там ни пяди земли, куда не был бы вложен труд его рук, куда не был бы пролит пот с его лица. Живёшь в доме год, и десять лет, и сорок — и смотрите, люди божии, дом стал похож на меня, как брат на брата, и любовь между нами. И когда поедешь в далёкие края по немилому указу, заплачешь по доме больше, чем по брате, и больше, чем когда-то плакал по матери.

Ернею показалось, что те зелёные окна будто

уже не приветствуют его так любовно, как приветствовали всегда; что на всём белом доме уже лежит тихая скорбь вдовы.

А скорбь походит на зерно, рождающее тысячеричный урожай. Едва посеянная в сердце, она разрастается так пышно, что утешению нет уже места. И оскорблённое сердце Ернея стало тяжёлым, и он сильно опечалился.

«Что ты сделал, хозяин, злым своим словом, что ты сделал мне, старику? Почему ты поступил так, что опозорен и удручён на зиму тот, кто не знал скорби ни весной, ни всё долгое лето?!»

Ерней не зашёл в дом и на поле не посмотрел, пошёл в хлев и лёг на подстилку. Мысли, неизвестные ему раньше, теперь роем пронеслись в его голове.

«Сорок лет будет, — думал он, — сорок и не меньше, — как я переступил этот порог. Хижина была тогда, как курень, тёмная и убогая; стыд хозяину и батраку. Но полился пот ручьями, и поставили мы дом новый — женщинам радость, мужчинам честь. Кто поставил его? Все померли, усталые; остался я один, последний хозяин! На просторное, благодатное поле смотрит наш дом. Кто обработал это поле, кто удобрил его? Все померли — остался один я, последний пахарь, последний косарь... Взгляните на чудо чудное: сорок лет родила яблоня честному хозяину сада, и вот приходит чужой человек и хочет выкопать яблоню и пересадить её на камень... Подивитесь на чудо чудное! Сорок лет он работал батраком, чтобы построить дом и хозяйство, своим потом он удабривал поле и сенокосы, а когда появился дом, когда плодородными стали поле и луг, приходит человек — откуда приходит? — и говорит: ты здесь не хозяин, и прогоняет его в хлев, а сам садится на запечек и закуривает трубку».

Размышляя так, Ерней встал, стряхнул пыль с колен и с чёрного похоронного пиджака и отправился в избу. Раздевшись, он залез на запечек¹ и закурил трубку. И сразу исчезла удручённость; он улыбался, жмуря глаза под нависшими бровями.

Вошла служанка в избу.

— Хорошо жить тебе, Ерней! День на дворе — все в поле, а ты сидишь на запечке!

Сморщив лоб, Ерней вынул трубку изо рта.

— Пошла вон, баба! Кому приказываешь?

Шумно хлопнув дверью, служанка вышла.

«Что укололо её?» — недоумевал Ерней.

Под вечер, когда небо покрылось тучами, дверь широко распахнулась. На пороге, пошатываясь, стоял Ситар. Шляпа, надетая набекрень, съехала на ухо. Ерней смотрел на него с негодованием, не вынимая изо рта трубки.

— Кто пришёл? — закричал Ситар.

Ерней молчал.

— Кто пришёл, спрашиваю?

Ерней медленно вынул трубку изо рта и улыбнулся.

— Хорошо выпил на тризне своего отца. Спать иди, спать!

Тяжёлым шагом, так что пол затрясся, вошёл Ситар в избу.

— Кого спать гонишь, батрак? Кто пьян, батрак?

Ерней спокойно сидел и говорил, как будто речь шла об урожае.

— Тебе сказал я: иди спать; потому что ты пьян!

Изумился Ситар, напряглись у него морщины на лбу, хлопнул он шляпой о пол и раскричался:

¹ Запечек — место отдыха у печки.

— Молчи, батрак! Не одного хозяина похоронил я, — двух похоронил сегодня. Слезай!

И Ерней улыбался и, не торопясь, стал опускаться с запечка; некуда было ему спешить.

— Слезешь когда-нибудь?

— Прости старым костям. Успеешь ещё отдохнуть!

Споткнувшись и слегка пошатываясь, взобрался Ситар на запечек и, развалившись, приказал:

— Разу́й меня!

Ерней ничего не ответил, сел на скамью и стал разжигать свою потухшую трубку.

— Сними мне сапоги!

— Всё ещё не прошла у тебя дурь? — сказал Ерней, медленно выпуская дым. — Ещё смертью пахнет в этом доме, — лучше стань на колени и молись в этот вечер.

С этими словами он сам стал на колени перед распятием.

Пока Ерней молился, хозяин мрачно смотрел, раскуривал трубку, плевал через комнату и молчал. Наконец Ерней встал и, глядя на пол, взялся за дверь, чтобы уйти.

Ерней стоял перед дверью и держался за ручку.

— Скажу я тебе, Ерней, — заговорил Ситар торопливо; трубка у него в руке дрожала. — Скажу я тебе: ищи себе хозяина в другом месте.

Засмеялся Ерней и весело сощурил глаза.

— А?

Ситар ударил сапогом о скамью.

— Оглох, батрак? Ищи себе другого хозяина, — сказал я. Покончил ты со мной! С этим домом покончил!

Тут из чёрного неба блеснула молния, загрохотало вдали. Ерней снял шляпу и перекрестился.

— Боже, сохрани нас от всякого зла! Не греша, молодой Ситар, помолись богу и твоему святому!

Открыв дверь, ушёл он в хлев; там лёг в сено и уснул усталый — все злые мысли отошли от его сердца.

III

Как молодое заплаканное лицо, на котором ещё не высохли слёзы, так прояснилось и засмеялось росистое утро после грозы.

Ерней вышел на крыльцо, обошёл вокруг хлева и отправился посмотреть поле. Ситар открыл окно. Растрёпанный и хмурый, оглянувшись сонными глазами и увидел Ернея.

— Куда?

Медленно повернулся Ерней.

— В поле!

— В чьё?

— А!?

— В чьё поле?

Ерней громко засмеялся.

— Всё ещё не проспался? Поспи ещё, коли голова болит!

— В чьё поле? — крикнул хозяин, и кровь хлынула ему в лицо.

— В наше поле! — ответил Ерней и стал у межи спокойный, сгорбленный, со сложенными за спиной руками.

— Что это значит: наше поле?

Морщины на лбу у Ернея стали заметнее и больше, к его сморщенным щекам подступила кровь.

— Это значит: и моё поле!

Изумился Ситар, раскрыл рот, глядел большими, выпуклыми глазами: свихнулся старик!

Ерней повернулся и пошёл межой в поле. Долго смотрел Ситар ему вслед, затем оделся и пошёл в поле другой стороной, чтобы не встретить батрака. Оба они шли медленно, согнувшись, смотрели вниз и всё-таки видели друг друга издали, как видишь и чувствуешь сердцем опасность.

Ерней вернулся в дом, когда обед уже стоял на столе. Изумлённый, остановился он в дверях; нахмутив брови, оглянулся на хозяина и на челядь: ни ложки для него, ни места за столом не было.

— Почему не позвали меня?

— Может, соседи звали тебя? — ответил Ситар.

Челядь засмеялась.

— Чего кудахчете? Разве Курент¹ вошёл в дом?

Голос Ернея дрожал от гнева и скорби.

Тогда начала говорить Ситариха; и скорее ключими, чем любезными, были её слова:

— Не слышал разве вчера? Хозяин отказал тебе. Но если ты голоден, возьми ложку: даже нищего не гоним за порог, а батрака, который работал в доме и ел с нами, накормим!

Служанка поднялась и положила ложку на стол, возле ложки пастуха.

— Чего стоишь и смотришь? — спросил хозяин, не глядя на Ернея. — Предлагаем тебе ложку, если ты голоден. Господь благословит, не считаем тебе кусков! А не хочешь, так счастливого пути!

Ерней ничего не ответил. Бросил тогда Ситар ложку на стол и встал.

— Оглохли твои старые уши или высохли

¹ Древнеславянский бог веселья.

мозги? Или ты прикидываешься дурачком? Вчера ещё сказал я тебе: ищи себе хозяина в другом месте. Свет велик, и ноги у тебя длинные. Нахозяйничался ты у нас, — довольно!

Задрожали колени у Ернея, голос не шёл из горла, тихой стала его речь.

— Да, я хорошо слышал и понял тебя, молодой Ситар. Но если бы сказал ты: иди и зажги дом, — хорошо бы слышал я тебя, хорошо бы понял, но не зажгёт бы дома. Говори разумно, и я услышу и послушаюсь тебя! Что это значит: повесь суму на старые плечи и уходи из дому? Где в этих словах божий разум и право? По-христиански было бы, и нисколько не унизил бы ты себя, если бы после поминок встал бы на колени передо мною, перед последним хозяином этого дома. И я сказал бы тебе: ты хозяйничай теперь, твой дом, твой сенокос, твоё поле; возьми всё это, что возросло так чудесно из моей крови. Моё тело теперь сгорблено и изнурено, слабы мои руки, и дрожат старые колени! Всё возьми, а я, старик, усталый хозяин, зажгу трубку и сяду на запечек. Так бы ты сделал, так бы я говорил, — и богу было бы это угодно, и людей не ввели бы мы в грех!

— Посмотрите на него, люди божии: на колени встать мне перед ним?

Челядь громко расхохоталась.

Повернувшись к Ернею, Ситар долго смотрел ему в лицо, затем сказал:

— Ты думаешь, я указал тебе на порог потому, что был пьян и сердит? Или что захотелось мне пошутить на поминках? Вот что, батрак, тяжела мне смерть отца, но весы были справедливые: возле скорби было и утешение. Никогда я не был в этом доме хозяином, последним батраком я служил, возле пастуховой лежала моя ложка. Ты,

батрак, был моим хозяином; твой взгляд был приказанием, твоё слово указом. Но я предвидел в своём сердце такое время, когда ты будешь просить у моего порога, а я буду наслаждаться... Вам всем он был хозяином, наслаждайтесь же и вы. Пастух, отвори ему дверь пошире!

Пастух пошёл и широко распахнул дверь. Ерней не шевельнулся, не двинулся с места.

— Не стой, как истукан! Пошевеливайся!

Ерней словно очнулся от сна. Ему не было горько, он даже улыбался.

— Ситар, бог установил законы, и не тебе их менять! Пот, который лился с твоего лба, он твой — вот закон! Не стану я просить постели, которую сам постелил, не стану просить хлеба, который сам вырастил и сам замесил! Лягу на постель и ничего не спрошу, потянусь за хлебом и никого не попрошу! Вот закон и право. А вы беритесь за ложки, пусть не будет вам стыдно краденого обеда, пусть не будет вам стыдно, что начали вы есть, не дождавшись хозяина и его «Отче наш». Он милосерден и справедлив. Его право и закон!

Так говорил Ерней. Но тёмным было лицо Ситара, его слова были быстрыми и грубыми. Мрачно глядела челядь.

— Иди, не пререкайся: отворена дверь, низок порог!

Ещё раз оглянулся Ерней, — долго оглядывался, но не встретил взгляда, сказавшего ему: «Прощай». И грустно стало Ернею.

— Пируйте, мои милые! Открыт вам дом, открыты кладовые, и амбар широко открыт. Берите и угощайтесь! А я вернусь к вам с правом, написанным, подписанным и печатью заверенным, ибо бог не лжёт, да и законы не лгут. И, когда

я вернусь,¹ милые мои, тогда да будет любовь между нами и христианское милосердие!

Сказал и ушёл.

IV

Он направился к жупану¹, корчмарю в долине... По дороге встретил человека — не то барина, не то студента, не то батрака. Одет он был в чёрное, носил бороду, знал и те и эти законы, часто был без дела, не имел ни дома, ни родных. Иногда он появлялся в Бетайнове и вдруг исчезал бог весть куда; в бога он не верил и шляпы у церкви не снимал.

«Спрошу-ка я его, безбожника», — подумал Ерней и остановил его:

— Дай бог, гость!²

— Дай бог, Ерней!

— Ты учёный и законы знаешь, вот что скажи ты мне. Сорок лет я работал, поставил дом, своим потом удабривал поле и сенокос, — чьё же это хозяйство?

Чёрный студент только приподнял брови и молчал.

— Подумай, как дело обстоит. Сорок лет работал я в этом хозяйстве; коли там станешь на колени и внимательно осмотришь землю, то увидишь, что она моя, узнаешь мою кровь. И дом, если на него посмотришь, будет приветствовать тебя от моего имени... Как ты думаешь?

Студент молчал. Ерней нагнулся, сморщил лоб и положил правый указательный палец на левый, чтобы точнее пояснить свою мысль.

— Вот в чём дело! Сорок лет тому назад я приехал... Откуда я приехал? Кажется, из Ресья,

¹ Глава сельской общины.

² Приветствие, употребляемое религиозными людьми в Словении.

да, из Ресья приехал я! В семье нас было слишком много, — вот я и отправился в путь. Давно это было. Даже во сне не снятся мне ни мать, ни братья, и если бы они теперь встретились мне, — я бы их не узнал. Так вот я и приехал сюда и создал вон тот хутор, что под горюю. Смотри туда! Видишь?

Студент посмотрел и удивился:

— Да ведь это Ситарево?

— Какое Ситарево? Где ты шатался, что ничего не знаешь? Умер Ситар. Вчера его хоронили! Теперь я один хозяин!

— А куда же делся молодой Ситар?

— Оглянись! Вон там он стоит возле дома. Стоит по-хозяйски. Боже упаси, я ничего плохого об нём не думаю. Хороший был бы работник, да только выпивает и вспыльчив. Из дому не выгоню, пусть хорохорится, бог с ним: молод ещё!

— Как же ты можешь его выгнать? Ведь после отца он хозяин!

Ерней злобно потряс головой и замахал руками:

— Что ты мелешь? А я думал — учёный! Не для этого я остановил тебя на дороге... Я и без тебя знал, что после отца наследство переходит к сыну. Но тут другое: сорок лет работал я — Ерней. Сорок лет я, Ерней, строил, и бог благословил мой труд: плоды уродились сторицею, тысячею. Чей же труд, чьи плоды? Вот на что ты мне ответь! Какой такой закон и какая заповедь божья, если я не имею места, где приклонить голову, хотя я за сорок лет накопил стог сена размером больше, чем люблянская гора. Справедливо ли, что я не имею корки хлеба, после того как я наполнил амбары рожью, пшеницей и гречихою? Что ты на это скажешь, учёный?!

Студент задумался, а потом рассмеялся:

— Ерней! Закон человеческий гласит так: Ерней да строит дом. А когда построит, хозяин — на запечек, а Ерней — за порог. Да пашет, да сеет, да жнёт Ерней; хозяину — жатва, и урожай, и хлеб, а Ернею — камень. Ерней косит и молотит. Ерней убирает сено и солому, а когда наполнит амбары, гумно и хлев, хозяин — на мягкую постель, а Ерней — на жёсткую землю. Состарятся хозяин и Ерней — хозяин на запечке сидит, трубку покуривает и приятно подрёмывает, а Ерней за хлевом валяется на гнилой соломе. Так велит закон. В заповеди же божьей сказано: «Терпи несправедливость, Ерней: если ударит тебя ближний твой в правую щёку, подставь ему и левую. А если снимут с тебя куртку, отдай и рубашку».

— Врёшь, — воскликнул Ерней, — бог не допускает несправедливости!

Может быть, студент почувствовал к батраку жалость, но он больше не смеялся.

— Не пререкайся, Ерней, о правде и справедливости законов и божьих заповедей. Я пререкался, и теперь вот нет у меня ни дома, ни родных. Хотел я объяснить людям несправедливость мира и законов, а меня выгнали на улицу, как бунтаря. Терпи несправедливость, Ерней и не говори о ней. Вернись, стань на колени перед хозяином, сложи руки и попроси у него кутка в доме, который ты сам выстроил, и корочку хлеба, который ты сам взрастил. Сделай так — и будешь послушен заповедям божьим и законам человеческим.

Ерней укоризненно покачал головой:

— Натерпелся ты, видно, достаточно горя, что говоришь такие безбожные слова. Да, натерпелся... Заходи ко мне, когда будешь усталый и голодный. Кровать с постелью и ложка с миской для тебя всегда найдутся!

Сказав это, Ерней почувствовал, как сердце его сжалось от боли.

И пошли они каждый своей дорогой.

V

Перед корчмой стоял жупан в жилете, толстый и довольный.

— Куда, Ерней?

— К тебе, жупан, по делу!

Вошли в корчму. Жупан расселся на лавке, Ерней остался стоять.

— Слушай, жупан, что я тебе расскажу, и рассуди по праву и законам. Вот что сказал мне молодой Ситар: «Иди и ищи себе хозяина в другом месте». Это он сказал мне, Ернею. «Кончил ты работу у меня, иди теперь искать пристанища в другом месте». Так и сказал мне, старику. «Всё что ты дал мне за весну, лето и осень, я спрятал в кладовых: они полны до потолка. А ты иди теперь на зиму, куда понесут тебя твои старые ноги. Я не пахал,—так он сказал,—и не сеял, и не жал, но твой урожай я уберу. Я буду есть свежий хлеб, а ты поищи себе сухую корку, затвердевшую от солнца на улице. Ты приготовил нам питьё и еду, ты снабдил пищей наш стол, а теперь стань у стола на колени, как Лазарь, и собирай крохи». Так и сказал, не постыдился. Где ж теперь право и закон, рассуди, жупан?!

Жупан нахмурил брови, наморщил лоб; взгляд его потерял прежнюю приветливость.

— Долго говоришь, мог бы сказать короче. Ситар прогнал тебя со службы?

Ерней положил шляпу и, опершись руками о стол, ответил:

— Как прогнал? Как может слуга выгнать

хозяина? Кто построил такой большой и красивый дом? Он или я? Кто удабривал поле своим потом? Кто расширил поле и сенокос и в гору и в долину? Он или я? Кто создал всё это богатство: я ли, что стоял в поле голый и потный, или он, что лежал в пелёнках и кричал? Кто имеет право сказать: повесь суму на плечи и иди куда хочешь, ибо мир велик, — он или я? Объясни право, жупан, растолкуй закон!

Жупан, прислонив широкую спину к стене, мрачно уставился на него.

— Чего ты хочешь, Ерней? Зачем пришёл?

— За правом пришёл я. Не надо мне ни хлеба, ни приюта. Загляни в законы, распечатай писания, отыщи право, — это твоя обязанность.

— Чего ты хочешь?

— Того, о чём говорил!

— Хозяин выгнал тебя со службы?

— Какой хозяин? С какой службы?

— Не дурачься, Ерней. Стар ты и глуп, поэтому и не сержусь на тебя. За что же он тебя выгнал?

— Кто выгнал? Откуда?

— Ну, Ерней, иди к пастухам и рассказывай им свою историю, если не понимаешь разумного слова. Больше мне не о чем тебя спрашивать. Скажи только одно: что ты намерен делать, Ерней, теперь без дома и хозяина? Куда пойдёшь?

— Куда мне идти?! — медленно переспросил Ерней, широко раскрывая глаза. — Не знаю!

— Выгнали тебя со службы; нет у тебя ни крова, ни хозяина... Куда теперь денешься?

Долго молчал Ерней, прежде чем промолвил:

— Разве это закон и право?!

Жупан рассердился:

— Не болтай о праве и законе. Зачем за-

кон и право батраку! Они не для него! Лучше скажи: куда ты направишь свои старые ноги?

Ерней слегка наклонил голову и в упор посмотрел на жупана.

— Значит, так и написано в законе: батраку нет ни прав, ни закона?

— Я этого не говорил, и нигде так не написано. Не клеветчи. Хозяин есть хозяин, а батрак — батрак, и если скажет хозяин батраку: повесь суму на плечи и иди куда хочешь, — батрак должен послушаться приказа и уйти. Так было испокон веков, — так будет всегда, иначе всё пойдет шиворот-навыворот. Не стыдно ли тебе, что я должен разъяснить тебе, как ребёнку, такие вещи, когда тебе уже крестов шесть¹ с лишним.

Ерней смотрел вниз и раздумывал.

— Значит, мне теперь повесить суму и итти помиру?

— Итти своим путём.

— И это право?

— Это закон!

— Ну, вот ещё что скажи мне, учёный жупан: как мне связать и положить в суму мой труд, как вместить в неё сороковину моих трудовых лет? Разъясни мне это, и я пойду.

Разгорячившись, вскочил жупан со своего места и стукнул кулаком по столу.

— Дурака валять пришёл? Мальчишек собери на улице и их потешай ратсказами, пусть они смеются, показывают тебе языки и дёргают тебя за пиджак. Со взрослыми у тебя всё конечно, — даже с бабами говорить не годишься.

Выслушав это, Ерней удивился:

¹ Шестьдесят лет.

— Вчера ещё иные были твои слова, жупан! Другим был твой привет! Даже лицо, мне кажется, было иное. Как удивительно изменяется человек! Ещё вчера был, а сегодня его уже нет: кто-то другой сидит на его месте! Что я сделал тебе, что ты плюёшь мне в лицо? Ведь ещё вчера ты меня приветствовал по-человечески!

— Не обязан я тебе ответом, батрак! Не надоедай ни мне, ни общине! Бери суму и ступай своей дорогой!

Сказав это, жупан встал и отвернулся.

VI

Во время спора Ернея с жупаном в корчму стали заходить посетители. Ерней обратился к ним:

— Люди добрые! Вы все слышали. Рассудите же по совести, не торопясь. Все вы знаете меня. Вы теперь взрослые мужчины, а были ребятами, когда я уже пахал, сеял, жал и косил. Мой дом уже стоял, и поле зрело, когда вы были ещё в материнском чреве. Мой дом там, наверху, под косогором. Моё поле тянется вниз до ручья и вверх до горы. Покосы и тёмный лес на горе тоже мои. Кто там работал, если не Ерней? Всё обработано, сжато, скошено и убрано мною, Ернеем! «А теперь возьми суму и уходи?» Выходит так! Будьте же моими судьями, люди добрые! Обдумайте и рассудите.

Люди смотрели на Ернея, некоторые улыбались, все молчали. Испуганно и тревожно вглядывался Ерней в их лица.

— Что же вы молчите и смотрите на меня, как на прохожего, нищего? Обдумайте всё хорошенько и не торопитесь приговором. Я объяснил

вам моё дело. Ничего не пропустил и не прибавил. Слово теперь за вами.

Антон Веячев засмеялся и сказал:

— С ума ты сошёл, Ерней, что ли?

Не поняв его, Ерней широко раскрыл глаза.

— К чему ты это говоришь? Ведь я не спрашиваю тебя о моём разуме, а спрашиваю о моём праве. Да если бы я и впрямь сошёл с ума, разве моё право могло бы от этого пострадать?

— Пусть растолкует в чём дело, — сказал Шаландарь.

— Раз сошёл с ума, значит, это не без причины!

Молчавший до этого жупан грубо пояснил:

— Ситар, хозяин, отказал батраку в службе, вот что случилось!

— Ернею отказали? — удивился Шаландарь.

— Нехорошо, что ему отказали! На старости лет отказали! Полагается ему куток и ложка у миски. Даже ослепшую лошадь не выгоняют из хлева.

Ерней высоко приподнял нависшие косматые брови.

— Как ослепшую лошадь? Тут дело не в милости, а в праве! Существует ли такой закон и заповедь божья, которая мне повелевает: теперь, когда ты доработался до тёмного вечера, возьми суму и иди куда глаза глядят? Вот в чём дело!

Бетайновцы переглянулись и молчали.

— Скажи ты, Шаландарь, — обратился к нему Ерней, — есть ли такой закон?

— Теперь вы знаете в чём дело, — засмеялся жупан. — Ответьте ему!

И Шаландарь ответил:

— Может быть, и есть такой закон и такая заповедь: батрак да слушается хозяина своего.

Но есть и другой закон, христианская заповедь: хозяин, не гони батрака из дому, когда он служил тебе до старости и стал дряхлым. А ты, Ерней, иди к хозяину и объясни это ему сам, и он пожалеет тебя.

Вспыхнул Ерней и взволнованно начал кричать:

— Нечего мне стучаться в ворота милосердия, — в ворота права стучу я. Пусть откроются они во-всю! Не нищий тот, кто работал сорок лет! Не бездомный тот, кто сам выстроил себе дом. Ты работал, ты и пользуйся плодами своего труда. Вот закон! И я его найду, я добьюсь своего! Коли вы не присудите, то ведь и над вами есть суд, а над всеми — бог!

Сурово глядели бетайновцы. Жупан улыбался.

— Обдумай хорошенько, Ерней, и не торопись, — важно проговорил Шаландарь. — Что мир порешил, того не переделаешь. Коли ты поссорился с молодым хозяином и неловко тебе обращаться к нему с просьбой, то найдётся для тебя куток в богадельне, хотя ты и не из нашей общины. Долго ты был между нами, — не погибать же тебе на улице!

Задрожал от гнева, выпрямился во весь свой рост Ерней.

— Ситар выбросил меня на улицу, а вы облили меня помоями. Права шёл я искать, а вы, судьи, глумитесь надо мной! Негодяев запирайте в богадельни, пьяниц, пропивших своё имущество, карманников, которым на старости лет изменили пальцы! И судей загоните туда же, которые оплевали закон и осквернили право. Да ещё тех посадите туда, кто глумился над стариком, вместо того чтобы склониться перед ним до земли.

Так закончил Ерней.

Рассердились крестьяне, заволновались, закричали наперебой:

— Перестань, батрак!

— Не ругайся, батрак!

— Рехнулся, батрак!

— В арестную батрака, бунтаря, а не в богадельню!

— Иди, батрак, своей дорогой!

— Отвори дверь батраку! Отвори, жупан!

— Отворите ему во-всю!

Жупан подошёл к Ернею.

— Иди с богом, Ерней! Довольно — поговорили!

Оглянулся Ерней, лицо его было спокойно, только голос дрожал:

— Прощаю вам, судьи неправедные, как бог простил тем, которые преследовали его и проклинали!

Опустив голову, тихо отворил дверь и бесшумно закрыл её за собою.

VII

Выйдя на улицу, Ерней подумал: «Сам жупан сказал: «Собери мальчишек на улице и рассказывай им свои сказки. Пусть они смеются и дёргают тебя за пиджак». Может быть, то, чего не поняли взрослые, поймёт невинное детское сердце, наполненное благословением Божиим?»

Увидя бегущих навстречу мальчишек, Ерней остановил их и, когда они приблизились к нему, рассказал им о своём деле.

— У меня был дом, и у меня его отняли, — начал он. — Вон там, на косогоре, с зелёными

окнами. Много лет я его строил, и пока достроил, стал я старый и дряхлый. Тогда пришли другие и сказали: «Довольно, Ерней! Иди, куда хочешь!» Было у меня поле — вон то поле; с горы вниз до ручья; и поле отняли у меня. Милые дети, скажите мне, справедливо это или нет?

Дети изумились, затем весело засмеялись. Один из них, босоногий, несмело сказал:

— Дядя Ерней, дай крейцер!

— Вот тебе крейцер! Не бойся, возьми деньги и скажи правду про то, что я спросил.

Босой мальчик протянул руку, схватил крейцер и, стиснув его в руке, убежал.

— Бог с тобой, бедный мальчуган, — улыбнулся Ерней вслед убежавшему мальчишке. Потом он обратился к стоявшему перед ним мальчику постарше:

— Вот ты всё слышал и выглядишь смышлённым мальчиком. Скажи, как ты понимаешь это дело и где тут закон и право?

— Дай и мне крейцер, — сказал тот голосом взрослого человека.

— Вот тебе крейцер, даже два! Ибо богат Ерней, ведь он работал сорок лет. Но отвечай мне, о чём я спросил!

Мальчик спрятал деньги в карман, отступил на шаг назад и хриплым голосом крикнул:

— Пьяница!

Затем, оглядываясь, не гонится ли за ним Ерней, пустился бежать.

— Иди, глупый, да не закроет на тебя бог свои глаза! — сказал печально Ерней.

Вокруг Ернея образовалась группа детей, и чем дальше он шёл, тем больше становилась группа и веселее шествие.

— Идите со мной, дети, и внимательно вы-

слушайте мою правду. Ваши сердца — поднятая целина; пусть упадёт в неё семя: когда-нибудь оно созреет полновесным зерном. Это ничего, что вы балуетесь! Это ничего! Я тоже был таким. Бойтесь того, кто мрачно смотрит и важно ходит! Хорошо быть весёлым. Я тоже когда-то веселился и танцевал. Девушки засматривались на меня, а парни завидовали и боялись.

— Потанцуй, дядя Ерней, — закричали дети. — Потанцуй!

И Ерней, подбоченившись, начал подпрыгивать, словно ноги у него были молодые и сильные.

— Эй, дядя Ерней танцует! Ерней пьяный! — толкая его и танцуя перед ним, кричали дети.

Ерней вытер рукавом потный лоб, встал среди улицы и посмотрел на детей.

— А теперь довольно шуток! Я вижу, что ни права, ни закона не знают ваши молодые сердца, да благословит их бог! Я ведь тоже до этой осени не знал несправедливости, пока не взвалили её мне на плечи; и вот хожу теперь по белу свету и не знаю, куда мне свалить её. Не дай вам бог узнать, что такое божья заповедь и что сделали из неё люди! Не суди вам бог узнать право, ибо кривду вы скоро почувствуете!

Ерней покачнулся. Шляпа его упала в пыль. Кто-то толкнул его сзади, когда он хотел её поднять. Дети весело хохотали.

— Не надо было этого, дети! Стар я уже и дряхл и не могу играть с вами, не могу подпрыгивать и кувыркаться.

Сгорбленный, низко наклонился он, чтобы поднять шляпу, и вдруг упал на колени, упираясь руками в песок. Дети разбежались. Но многие из них стали по сторонам дороги и, смеясь, ждали, что будет дальше. Медленно поднялся

Ерней. Не спеша стряхнул с себя пыль. Скоббное и усталое было у него лицо.

— Бог не открыл вам глаза, дети. Не открыть их и мне. Как познать вам кривду, если вы её не испытали? Да будет с вами бог и его милосердие.

— Ерней упал на землю. Свалился пьяный Ерней! — носясь вокруг него, орали дети. Пролетел камень и попал Ернею в колено. Ерней оглянулся и очень удивился:

— Что вы делаете, милые мои?!

Прилетел второй камень и попал Ернею в лицо и так поранил кожу, что показалась кровь.

Ерней затрясся от ужаса и распростёр руки:

— Дети, милые, что я вам сделал?!

— Кровь! — в испуге закричали дети и, перепрыгнув через канаву, побежали в поле.

Из кучи ребят вынырнул большеголовый кудрявый мальчик, в одной только рубашке и босой. Мелкими шажками подбежал он к Ернею и, рыдая, обнял его колени. Ерней погладил его по растрёпанным кудрям и потрепал по заплаканным щёчкам. Лицо Ернея просияло, глаза засветились радостью.

— Только ты пришёл ко мне, кудрявый малютка. Только ты услышал меня. Будь же моим справедливым судьёй!

Ребёнок, дрожа, рыдал.

— Мама, мама, мама! — вопил он.

Подошла молодая женщина и взяла его на руки.

— Что ему сделали?

— Он один почувствовал несправедливость — один он! Да будет благословение божие на тебе, мой милосердный судья! — сказал Ерней.

А ребёнок спрятал на груди матери заплаканное лицо и, заикаясь, повторял: «Мама, мама, мама!»

Ерней отправился за сумой. Перед домом встретил Ситара, но даже не взглянул на него. Ситар также отвернулся.

— Только за сумой пришёл, только за сумой, — глядя перед собой и будто разговаривая с домом, сказал Ерней. — Больше ничего не возьму. Не надо запирать дом и амбары!

Войдя в дом, заглянул в сени и полез по лестнице на чердак в комнату, которую когда-то сам выбрал. Там стояла кровать; над ней висело распятие и чётки, — больше ничего.

На крючке висело праздничное платье, в корзине, под скамьёй, было спрятано бельё. Кровать была покрыта пёстрым платком, подаренным ему покойным Мартином на память о турецкой войне.

Ерней положил в него праздничное платье и бельё. Грустно стало у него на сердце, когда начал он связывать платок крепкой верёвкой. Сжалось у него в груди, ком горечи подступил к горлу. Стал Ерней на колени перед распятием, перекрестился и склонился до самой подушки.

— Отче наш, иже еси на небесех!.. Правды ищущую, которую ты послал в мир! Что ты сказал — не отменишь! Что написал — не вычеркнешь! Не верю я людям. Одному писанию твоему верю! Ты — справедливый, подай рабочему плату. Вознагради батрака за его труд. насыть его и утоли его жажду. Только прикажи — и слово твоё будет услышано. Наполнятся благостью сердца людей, и познают они истину! Не испытывай их долго, прикоснись к глазам их, и они прозреют. Не томи и холопа твоего, ибо уже стар он и изнемог. Утешь его, ибо он удручён и ослабел от скорби.

И бог как будто услышал его: исчезла скорбь, и легче стало на сердце Ернея. Он встал, перекинул через плечо узел и сапоги и, взяв в руку сучковатый посох, направился к выходу. На пороге перекрестился.

— Помоги мне, боже, счастливо дойти и вернуться!

Издалека увидел Ситара, стоящего на краю возгоса.

«Прости ему, боже», — подумал Ерней и протянул руку в прощальном привете.

— Без вражды в дорогу: вражда тяжелее сердцу, чем скорбь; не помня зла, пожми ему руки, введи его в дом, как заблудшего сына!

Ещё раз оглянулся Ерней на дом, на поле, на луг и далёкие пастбища и спустился в Долину.

Большое и красивое здание суда с длинным рядом окон стоит на площади в Долине. К нему врымыкают высокие ворота с кесарским орлом наверху. Странно и непривычно почувствовал себя Ерней, когда оказался в просторной прихожей суда! Пугало его это место, наполненное проклятиями, несправедливыми деяниями и лживыми крисягами.

Навстречу ему вышел сгорбленный, сухой старик. Подмышкой у него была большая папка с жёлтыми бумагами.

— Добрый день! — сказал Ерней, снимая шляпу.

— Чего тебе надо? — ворчливо спросил старик, окидывая Ернея неприязненным взглядом.

— Чего мне надо? — улыбаясь, переспросил Ерней, глядя сверху вниз на сгорбленного старика. — Успокойтесь, я никого не собираюсь тащить на виселицу! Зачем обижать людей? Пусть другие затевают суды да тяжбы, ссорятся и при-

сягают. Мне этого не нужно. Пусть только выслушают меня и по-хорошему, без ссоры решат моё дело.

Злобный старик прервал Ернея:

— Что ты мелешь? Чего тебе надо?

— Справедливого судью!

Нахмурившись, старик ткнул указательным пальцем вверх по лестнице и скрылся.

С узлом и сапогами за плечами и посохом в руке медленно поднимался Ерней по тёмной лестнице. Навстречу ему, размахивая руками, спустился низкорослый костлявый крестьянин. Перекосившееся от злости лицо его было налито кровью.

— Разбойники! Разбойники! — вопил он отчаянно.

Ерней заинтересовался:

— Кто разбойники?

Крестьянин прошёл мимо, ничего не ответив.

«Зловредный человек, — подумал Ерней, — какие же могут быть в суде разбойники?»

Стоя в коридоре, Ерней не знал, в какую дверь постучать. Пока он стоял и раздумывал, одна из дверей отворилась, и из неё вышел высокий человек с козлиной бородкой. Одет он был во всё чёрное. Не закрывая двери, он прошёл мимо. Ерней робко заглянул в комнату. Там, за деревянной перегородкой, за большим, загромождённым бумагами столом сидел судья: толстый лысый господин с длинными усами и недовольным лицом.

За другим столом писал молодой писарь. Судья приподнял голову и косо посмотрел на Ернея.

— Что скажешь? — пробубнил он.

Ерней осторожно переступил порог.

— Права я ищу! Ложь обличаю! — ответил

Ерней. — Думаю, что попал в надлежащее место!

Писарь повернул голову и улыбнулся, а судья приподнял брови.

— Говори, что нужно?

Ерней скинул узел и сапоги на скамейку, подошёл к перегородке и, опершись об неё обеими руками, сказал:

— Судья! Я не злой человек и никому не желаю зла, даже тем, кто плохо поступил со мной. Пусть будет правда по воле божьей и возмездие: я не хочу, чтобы Ситар выгнали из дому с узлом и сапогами за плечами, как меня. Не хочу я и того, чтобы его заковали в кандалы, гнали через село и бросили в тюрьму. И прощенья не надо просить ему перед народом! Не надо! Зачем его срамить? Пусть только примирится со своей совестью! Право тому, кому оно следует. А виноватому — милость и прощение.

Изумились и судья и писарь.

— Да ты не бредишь ли, человек божий? — воскликнул судья. — Не ты ли ситаров Ерней с горы?

— Я самый, — с живостью подхватил Ерней, — вот уж сорок лет как я тот самый ситаров Ерней с горы! Но молодой Ситар затеял что-то неладное. Шутку затеял. Ради прихоти своей сказал мне: «Вот что, Ерней, собери свои вещи, возьми посох и уходи. Влево иди, или вправо, или напрямик — куда знаешь, но только не возвращайся. Ты уже стар, спина у тебя сгорбилась, и колени дрожат. Уходи», — так сказал молодой Ситар. А вы раскройте книгу и рассудите нас по праву.

Писарь, нагнувшись над бумагами, так смеялся, что плечи его вздрагивали.

Судья наморщил лоб.

— Так чего же ты хочешь? Зачем пришёл?
Поражённый Ерней раскрыл рот и молчал.

— Я тебя спрашиваю — зачем пришёл? — повторил судья и так мрачно посмотрел, что Ерней отступил от перегородки и согнулся.

— Да я же объяснил вам мою историю всю, как есть, без вымысла и украшений! Что ж мне рассказывать? Вам решать теперь, ваше слово, а не моё.

Ещё больше удивился судья, ещё строже посмотрел на Ернея, а писарь засмеялся ещё громче.

— Мне некогда, человеке, — сказал судья, — слушать сказки про белого бычка. Если есть, что сказать, — говори прямо, без выкрутасов, а если нет — скатертью дорога.

Сказав это, судья замолчал. А Ерней, ничего не понимая, переминался с ноги на ногу, почёсывая за ухом, не зная, что делать.

— Как же это так, судья? Если я зайду к лавочнику купить табаку, не будет же он предлагать мне соли? Пришёл я спросить вас насчёт закона, а вы мне: «Что ты мелешь?» Не соль пришёл я покупать, дайте мне табаку!

Вошёл худощавый старик с большой связкой бумаг подмышкой.

— Крутник, возьми этого человека и покажи ему, как выйти на улицу! — приказал ему судья.

Худощавый служитель ухватил Ернея за руку, да так её сжал, что Ерней удивился: «Ишь ты, а на вид — мелюзга!»

Ерней сказал:

— И над тобой, неправедный судья, есть судьи! А над всеми — бог!

Взяв узел, сапоги и посох, он вышел. Затем вернулся и быстрыми шагами ещё раз подошёл к перегородке.

— Теперь я знаю, что крестьянин говорил правду. Здесь проклятое место!

Он собирался ещё что-то сказать, но служитель вытолкнул его за дверь.

IX

Был ясный и тёплый вечер. Лёгкий ветерок чуть колыхал траву на покосе и тихо шелестел в лесу. Ерней задумался, где бы ему отдохнуть, и направился к горе, откуда его приветствовала сосновая роща, убежище всех влюблённых и бездомных. Вдоль поля извивалась узкая тропинка, поднимаясь через пастбища к зелёному косяго-ру. Медленно шагал Ерней, он устал. Сердце его полно было скорби.

«Если я обидел кого-нибудь из вас, блуждающих по свету бездомных бродяг, — подумал Ерней, — да не помяните меня лихом. Вы устали, путники, — устали больше от несправедливости, чем от крутого пути; если я кого-нибудь из вас не пустил в дом, — не проклинайте меня в сердце своем! Тяжела ваша ноша: едва взвалишь её на плечи, а уже сгибаются колени, и опускается голова до пояса. Но когда избавлюсь я от неё, когда восторжествует справедливость, тогда приходите вы, благословенные скорбью; открыт будет для вас дом мой, приготовлен стол со скатертью и едою; наполнены будут яствами миски!»

На опушке леса он снял узел и лёг на траву. Вся долина была в тени, и Бетайнова, притулившаяся к пологому косяго-ру, дремала, утопая в яблонях. По-господски блестел белый дом Ситара. Ернею казалось, будто дом, жмурясь, приветливо кивает ему.

— Ладно, спи! — сказал Ерней, глядя на дом. — Да не снится тебе кривда! Приготовься встретить меня в свадебной одежде и приветствовать. Да не будет злобы между нами!

Благими и милосердными были его мысли, и скорбь его сердца уменьшилась. Кругом не было никого; спускались сумерки; в соснах шумело: там разговаривали блуждающие души.

— Да пошлёт вам бог отдых и утешение! — молился Ерней. — Он справедлив и милосерден, настанет час, когда все вы узрите его славу, и мне, грешному, придёт час.

По тропе шёл студент, издали увидел Ернея и направился прямо к нему.

— Ну, как чувствуешь себя, Ерней, с посохом? — спросил он добродушно.

— На всё воля божья, не мне с ним пререкаться, — ответил Ерней.

Студент тоже прилёг на траву.

— Мир — большой дом, без стен и пограничных камней, — сказал студент, — соседям не из-за чего ссориться, — всем хватит места! И крыша высока; не надо нагибаться. Пользуйся этим богатством без налогов и обложений! Не годится нам жаловаться, Ерней: где люди несправедливы, там бог справедлив! Люди дали нам посох, показали тернистый путь, а бог открыл нам свой дом, какой он даёт путникам и бездомным!

Ерней посмотрел на него укоризненно, добрыми глазами.

— Велика ж была кривда, которую ты испытал, и тяжесть скорби, которую носишь в сердце своём! Как мог ты сказать слова, которые в твоих устах звучат насмешкой, и как ты осмелился произнести имя божье, коли ты неверующий?

Студент молча смотрел в темневшее небо, затем, улыбнувшись, сказал:

— Бог милостивее ко мне, чем к тебе, Ерней! Мне он показал кривду в начале моей жизни, а тебе только в конце. Меня выбросили без всяких церемоний прямо на дорогу истинного познания, ты же сорок лет блуждал по ложному пути, — длинен обратный путь, Ерней! Ещё ребёнком я познакомился с житейскими невзгодами. Куда бы я ни шёл, всюду получал вместо привета пинки. Крепко, крепко вбили мне в голову истинное представление о том, что такое законы и заповеди и кем они созданы. Что мне теперь до судебных дел и пререканий с богом и людьми! Я обладаю самым драгоценным сокровищем — знанием жизни. А что ты намерен делать теперь, Ерней?

— Завтра с утра пойду искать справедливых судей, а теперь буду спать.

— А где же ты намерен искать справедливых судей?

— Пойду к тем, что призваны судить по праву и закону. Бог ниспослал в мир закон и не дозволит людям запира́ть его в шкаф, всенародно плевать на его заповеди. Бог милостив и не будет испытывать до последней крайности раба своего.

— Тверда вера твоя, Ерней, и большой будет грех на тех, кто причинит тебе зло. Подожду я, Ерней, пока ты вернёшься. Скажи, Ерней, ещё одно: что же ты будешь делать, если не найдёшь справедливости ни у бога, ни у людей?

— А что бы ты стал делать, студент, если бы вдруг не стало ни неба, ни этих звёзд, что глядят на нас, ни этой долины, ни тебя, ни меня?

— О, как беззаботны твои слова, Ерней, и как жестоко поступили люди с твоим сердцем! Молись лучше, я тоже помолюсь.

Широко раскрытыми глазами они смотрели на небо. Тёмная была долина, а небо делалось всё

светлее и светлее; а восток: звезды там угасали, большой и красной вставала луна.

Х

Ерней направился в Любляну. Подсчитал свои сбережения, они оказались не малыми; каждый год откладывал он по рублю. На прощанье оглянулся на долину, снял шляпу и перекрестился.

Рано ещё было; солнце ещё не появлялось; трава была росистая; сырой туман поднимался над долинами. Ернею стало холодно; одежда была влажна от сырости, лицо от росы, как умытое.

«Не привык я ещё к тому дому, где живёт студент,—подумал Ерней. — Не привык я ещё к росистой постели под высокой крышей!»

И, повесив узел на плечи, он пошёл между нивами и покосами к большой дороге. Лёгким шагом шёл он после отдыха, и сердце его было полно радости и упования.

«Зачем тратить деньги на подводу! Пока носят ещё старые ноги, стыдно попрошайничать. Вот если проедет мимо добрый христианин и скажет: «Вот тебе, Ерней, место, хватит нам на двоих, да и кобыла только что отдохнула», — ну, тогда я сяду, во имя божие».

Едва он подумал так, как проезжавший мимо крестьянин, оглянувшись, приостановил телегу:

— Куда ты?

— В Любляну.

— Садись, подвезу до Гощева.

Присел Ерней на телегу.

— По каким делам в Любляну?

— Правду искать.

Крестьянин, осанистый и приземистый, недоумевающим взглядом посмотрел на Ернея.

— А кто же ты сам-то будешь?

— Ерней из Бетайнова.

Крестьянин задумался.

— Не знаю Ернея из Бетайнова. Какой такой Ерней?

— Батрак Ерней. У Ситаровых был до вчерашнего дня.

— Хозяина идёшь обвинять?

— Зла я ему не хочу, но пускай рассудят по праву!

— Что же он тебе сделал?

— Сорок лет я у него работал. И когда состарился, он пришёл и сказал мне: «Уходи!»

Крестьянин мрачно поглядел на Ернея и, щёлкнув кнутом по лошади, сказал:

— Так идёшь его обвинять?

— Почему обвинять? Правое дело хочу защищать, — пусть рассудят!

— А добьёшься толку?

— Добьюсь! Судей на свете много, а закон — один.

— Ни черта ты не добьёшься!

Крестьянин так круто повернулся к Ернею, что, натянув вожжи, чуть не остановил лошадь.

— Если хочешь выслушать разумное слово, батрак, так слушай: слезай с воза и отправляйся туда, откуда пришёл! Никогда этого не бывало и не будет, чтобы батрак добился чего-нибудь от хозяина. Старый ты, должен бы это знать! Если бы мой батрак вздумал жаловаться на меня или судиться со мной, да знаешь, что бы я с ним сделал: дал бы Симону да Якубу по цепу в руки и сказал: «Молотите его, пока руки не устанут, чтобы он знал в другой раз, кто хозяин и кто батрак!» Вот бы что я сделал! А теперь видишь там корчму? — При этом крестьянин показал плетью в поле. — Я там остановлюсь!

— Никакой корчмы не было. Ерней взял узел и сапоги и спрыгнул с воза. Крестьянин, хлестнув по лошади, помчался, поднимая пыль. Печально смотрел ему вслед Ерней.

— Он, как ребёнок. Ел хороший калач и не знает, что такое голод! Бог воздаст ему по своему закону и милосердию!

Быстро поднялось солнце; Ерней шёл час, шёл два; ноги уже деревянели, поодаль, на горе, зазвонили на полдник; Ерней почувствовал голод. Но уже недолго осталось паломничать. На дороге выднелась белая корчма.

В корчме было только два посетителя: молодой крестьянин, успевший уже к полудню напиться пьяным, да высокий, седой и сутулый старик, играющий на гармонике и распеваящий частушки. Ерней хотел было приветствовать их, но потом плюнул.

— Сюда, сюда! — приглашал его молодой крестьянин.

Ерней, не желая его слушать, сел за другой стол.

— Что, мы — разбойники, что ли? — обиделся крестьянин, пытаясь казаться трезвым.

— Куда и по каким делам, отец?

— В Любляну.

— Так... значит, в Любляну?.. Уж не судиться ли?

— Судиться.

— Дай бог счастья! Кого же обвиняешь?

— Хозяина!

— А? Что? Хозяина? Да как же это так? Как же это вы с ним поссорились? — допрашивал крестьянин. Его весёлость смутила Ернея.

— Как? Работал, пока был молод, а теперь я — стар, хозяин и сказал: «Уходи!»

— Хо-хо-хо! — засмеялся крестьянин и хлопнул седого музыканта по плечу.

— Слышал, Андреяц? Слышал? Батрак хочет обвинять хозяина!

Музыкант сжал гармонику между колен так, что она запищала, и до слёз рассмеялся. А крестьянин продолжал:

— Ну, ты, батрак, смотри, что я тебе покажу!

Передохнув от смеха, он откашлялся и показал на музыканта.

— Вот этому и в голову не приходит меня обвинять, потому что он умён и знает, что такое — право. Прошло уже немало лет, как я его выгнал, — вздумалось мне, я и выгнал. Но он доволен, если я потешаюсь над ним, и ему не больно, если я его ущипну. — Он тут же ущипнул музыканта за локоть; музыкант сделал по-детски смешную гримасу и, тонко взвизгнув, высоко поднял колени. Потом оба засмеялись.

Ерней выпил вино. Стакан дрожал в его руке.

— Этим ты оплевал себя и осквернил образ божий.

Не отдохнув как следует, Ерней встал, взвалил на плечи узел и вышел. Через окно его напутствовал пьяный смех крестьянина и музыканта.

Дорога, растянувшись, убежала вдаль. Над городом Ерней увидел клубы серой пыли. Навстречу ему шла женщина с ребёнком на руках. Шатаясь, как пьяная, она громко плакала. Ребёнок обеими руками обвивал шею матери. Увидя Ернея, она подняла опухшее, заплаканное лицо и простонала:

— Смотри, человек божий, справедливо это или нет? — Она схватила ребёнка и, подняв, показала его Ернею.

Хороший это был ребёнок, здоровый и румяный, но глаза у него были слепые.

— Человек божий, у бога нет правды; нет её и в раю! Что сделал этот ребёнок богу, божьей матери и святым? Что он сделал им плохого, из-за чего никогда не увидит он ни отца, ни матери? Да иссохнет рука, поразившая его слепотой!

Дрожащими руками она обняла ребёнка и, прижав к себе, громко заплакала и пошла дальше. Ерней опустил голову.

XI

Большой город Любляна. Дома высокие, стоят рядом, прижавшись один к другому, никаких заборов между ними нет. Улицы полны народу; каждый день торжественная обедня с процессией. Священников столько, что приходится держать шляпу в руках, иначе не успеешь поклониться. С утра и до вечера звонят и перезванивают колокола. Ходишь, как по ярмарке, не зная, куда смотреть, куда ступить и кого спросить...

Долго ходил Ерней по улицам, рассматривая эти чудеса. Затем зашёл он в церковь, стал перед боковым алтарём на колени и долго молился. Тихо и сумрачно было в церкви, это облегчало разговор с богом. Когда Ерней кончил молитву, глубокой и твёрдой стала его уверенность.

«Может быть, ещё длинна моя дорога, тяжёл мой путь, камнями усыпанный и тернием заросший, — думал он во время молитвы. — Но когда-нибудь наступит же конец пути и откроются врата. Бог не прячет свою правду, как скряга сребренники. Во сто ворот постучу, сто первые откроются».

С этими мыслями Ерней вышел на улицу и спросил у проходившего мимо него барина:

— Скажите, пожалуйста, где тут находятся судьи, которым подают жалобы?

Барин сначала удивился, а потом засмеялся:

— Отец, поищите толкового адвоката, пусть он обжалует и объяснит ваше дело.

— Зачем мне адвокат, если дело моё такое, что и слепой рассмотрит и глухой разберёт? Я ведь не затеваю тяжбу из-за межи или дороги; я никого не хочу обидеть, — зачем же мне обращаться к адвокату? Я ищу не выгоду, а правду.

— Долго вам придётся искать её, отец! Много было таких, как вы, правдоискателей, да застряли они по дороге, а Пилат умыл руки! — Сказав это, барин засмеялся и пошёл своей дорогой.

«И он тоже отведал, видно, несправедливости, ибо в его смехе много горечи».

Долго ходил Ерней по улицам Любляны, искал, расспрашивал и, наконец, нашёл то, чего добивался.

Большим, высоким и просторным был тот дом, где помещался суд; равного ему Ерней не видел отроду. Несмелыми шагами вошёл он в переднюю. Люди сновали взад и вперёд по коридорам и лестницам, вправо, влево и прямо; господа и крестьяне, мужчины и женщины, все они шли с озабоченным видом и куда-то торопились. Было, как на ярмарке: Ерней не знал, куда идти: вправо, влево или прямо? Он приветливо обратился к человеку барского вида и спросил о судьях. Барственный человек посмотрел на него, пожал плечами и пошёл дальше. Ерней стоял, вертя в руках шляпу и не зная, что делать. Вдруг на лестнице раздались крикливые голоса: низкий мужской и высокий женский.

— Разбойники! Разбойники! Разбойники!

По лестнице спускались двое: оба гневные, с налитыми кровью глазами и раскрасневшимися лицами. Женщина, одетая по-праздничному, держала в руках зонтик и узелок, мужчина стучал батоном по каменным ступеням. Сверху донёлся спокойный барский голос:

— Обдумай свои слова, человек, пока не поздно!

Ерней вздрогнул, жуткое предчувствие стиснуло сердце. Он стал медленно подниматься по лестнице, как будто нёс тяжёлый груз. Ещё слышно было, как стучал по каменному полу батог крестьянина.

Ерней стоял наверху и ждал, чтобы обратились к нему и спросили, что ему нужно. Вскоре мимо него прошёл молодой человек. Взглянув на длинновязого с узлом и сапогами Ернея, он спросил его:

— А вы что? По какому делу?

— Не знаю, куда мне идти, — ответил Ерней, — вправо, влево или прямо?! Скажите мне, где находятся судьи?

Молодой человек засмеялся:

— Судей здесь много, отец дорогой, какого вы ищете и для чего?

— Справедливого судью ищу! Вот в чём дело: сорок лет работал я, построил дом и создал хозяйство, крепко запомните: построил дом и создал хозяйство! А теперь рассудите: чья яблоня, — того ли, кто сажал её и облагораживал, или же того, кто стряхнул яблоки, когда они постели? Ибо сказал он: «Сорок лет ты работал; поставил дом и завёл хозяйство, а теперь иди по белу свету и ищи своё право!» Но я не пал духом и пошёл по свету искать права. Вот и пришёл сюда. Скажите, друг, куда мне постучаться? Здесь столько дверей!

Перед Ернеем стоял уже не один молодой человек. Их собралось трое. Они с любопытством рассматривали его и весело смеялись. А Ерней, недоумевая, обижался.

— Дайте мне ответ — вас так много и все вы учёные!

Сухой, бородатый в очках человек, погладив бороду, добродушно улыбнулся.

— Вас вызывали? — спросил он.

— Нет не вызывали, я сам пришёл.

— А написанная жалоба есть?

— Какая жалоба? Никого я не обвиняю: я не хочу, чтобы кого-нибудь, будь он последний негодяй, заковывали из-за меня в кандалы и вешали на виселице! Не надо мне никаких жалоб, написанных адвокатами: у судей есть уши, чтобы слышать. Покажите, куда мне постучать!

Стоящие перед Ернеем переглянулись, а бородатый во второй раз улыбнулся и сказал:

— Идите за мною; я покажу вам справедливых судей.

Ерней молча последовал за бородатым человеком, и все зеваки пошли следом за ними.

XII

Пришли к настезь открытой двери. В комнате за широким столом стоял молодой человек; у него были светлые усы и весёлые глаза. Оглянувшись, он изумился, увидев Ернея и всё шествие. Бородатый человек указал через плечо большим пальцем на Ернея. Забавно сощуриив глаза и улыбнувшись, он сказал:

— Тебе, Коширь, как юмористу, рекомендую вот этого чудака, ищущего справедливых судей. Растолкуй ему, чья яблоня: того ли, кто её посадил, или того, кто снял с неё плоды?

Молодой судья нахмурил светлые брови, и лицо его стало серьёзным.

— К чему эта комедия! Скажите прямо, кто вы такой и что вам надо?

Ерней подошёл к нему ближе.

— Ерней я, из Бетайновы. Неладно поступили со мной! И вот отправился я по свету, чтобы отыскать право, данное богом, и закон, охраняемый судьями!

— Кого обвиняете, в чём и почему?

— Никого не обвиняю, ибо не хочу, чтобы люди из-за меня страдали. А расскажу вам всё так, как было. Работал я сорок лет в Бетайнове; нет той земли, ни на нивах, ни на сенокосе, куда бы ни капал пот с моего лба. Так работал я сорок лет, и бог щедро благословил мой труд. Но умер старый Ситар; пришёл его сын негодный и сказал: «Помни, Ерней, теперь я хозяин; ты своё отработал, ты уже старый и дряхлый, — больше мне не нужен. Нет тебе места в доме, который ты поставил и охранял; нет тебе хлеба, который ты взрастил и приготовил, бери посох и торбу и ступай, куда поведут тебя твои глаза». И ещё сказал: «Яблоня принадлежит тому, кто собрал с неё плоды, а не тому, кто сажал и ухаживал за нею. И вот я пошёл искать права, которое ниспослано в мир богом и нерушимо для людей. А теперь — судите!

Так говорил Ерней: медленно, по порядку, без вымысла и лицемерия.

Молодой судья внимательно выслушал его.

— Вернитесь, — сказал он, — вернитесь в Бетайнову к вашему хозяину, который несправедлив и суров, и скажите ему: повинуйся праву, будь милостив, дай мне куток в твоём доме и кусок хлеба на старости лет. Скажите ему так, и

он почувствует свой грех и исполнит вашу просьбу.

Долго молчал Ерней. От обиды он не мог промолвить ни слова. Наконец произнёс:

— А вы — судья?

— Судья!

— И вы судили по закону?

— Да, так я рассудил!

Во весь рост выпрямился Ерней. — На голову он был выше судьи и лентяев, стоящих у дверей.

— А я вам скажу, судья, что рассудили вы не по закону человеческому и не по слову божью. Разве бог повелел: лентяй да завалится на постель, которую труженик постелил и выравнивал целых сорок лет? Разве бог заповедывал: да издохнет Ерней в канаве, хотя он поставил себе хороший и тёплый дом?.. Откройте книгу: не умею я читать, но хочется мне видеть те чёрные слова, которые так повелевают. Покажите! И переплёт хочется мне видеть этой книги и её чёрный обрез. Скажите, разве написано там: ты работал, кровью удобрял ниву, чтобы высоко возшла пшеница и цедился сок из травы, а теперь, когда ты стар и дряхл, когда уже нет больше крови для удобрения земли, — убирайся? Скажите, разве написано в этой книге: «Ерней, наполнивший кладовые и амбар, да ходит он от села к селу, от дома к дому и надоедает людям и собакам, прося Христа-ради корку хлеба? Объясните, как вернуть мне свой сорокалетний труд. В землю он закопан, — как мне выкопать его, как положить его в узел и повесить на плечи, как мне спрятать в узел мои сорок лет? Вот мой узел, бельё в нём да праздничное платье. Сорок лет, — посчитайте, сколько это недель и дней. Разум мой стар и слаб, не могу сосчитать. Скажите мне,

этот узел — богатое вознаграждение? Праздничное платье и полотняная рубаша — справедливая плата за сорокалетний труд? Дайте мне настоящий ответ, и я поверю, что вы судья, богом поставленный.

Печально слушал молодой судья, скорбно глядел на загорелое лицо Ернея, на его запыхлённые ботинки и поношенное платье.

— Не пререкайся с законом! Люди создали его, люди дали ему силу и власть. Закон гласит: когда бичуют вас, согните спину и уповайте на бога. А если правда покажется вам похожей на кривду, отвернитесь и постарайтесь этого не замечать. Обдумайте всё это; идите с богом и сделайте, как я сказал.

Удивлённо и с испугом посмотрел на судью Ерней:

— Значит, права нет? Значит, вы отреклись от него?

Судья молчал.

— Вы заперли его в этом большом доме, чтоб его не было видно! Заперли семью замками и запечатали девятью печатями, чтобы не проникло оно на улицу, чтобы не встретил его Ерней! Вы украли его и воткнули в лацкан пиджака, чтобы скрыть его от народа. Но вы обманулись, сделавши так и не зная, что существует на свете такой человек, как Ерней. Я отыщу его, будь оно закопано в землю глубже, чем мой труд. Возьму лопату и буду копать, пока хватит сил. В Долине крестьянин назвал вас разбойниками, а я подумал по своему невежеству: ругает разбойниками честных судей; плохо, знать, видит он, — заспанные у него глаза; плохо слышит — глуховаты его уши; я не поверил ему и пошёл сюда. И вот, во второй раз, здесь на лестнице, я услышал тот же крик: «Разбойники! Разбойники!» И опять я

не поверил: как же могут быть разбойники в этом доме, где живут правда и закон? Но обманулся я, старый дурак: это не дом правды, а дом лжи, лицемерия и разбоя. А вы — не служители бога и закона, а рабы сатаны и насилия! На ложный путь попал я, заблудился, но на истинный я ещё вернусь.

Всё громче и громче говорил Ерней, всё больше и больше собиралось около него слушателей. Подошёл худой, лысый, пожилой человек. Остановившись, сердито спросил:

— Кто тут кричит, как пастух на пастбище?

А Ерней, не обращая на него внимания, продолжал:

— Не хочу я, чтобы из-за Ернея кто-либо терпел ущерб, но ещё раз скажу и подтвержу: не судьи вы, а разбойники! И это не дом правды, а дом лицемерия, ложью и преступлением осквернённый! Придёт время — выгонят вас всех на дорожку с сумой и палкой, разрушат это капище и не оставят от него и камня на камне!

Так говорил Ерней, трясясь от гнева.

XIII

И совершилась тогда великая несправедливость, какой ещё не видел свет. Усатый человек, подойдя к Ернею, схватил его за руку.

— Не трогайте меня! — закричал Ерней.

— Не сопротивляйся, Ерней, не сопротивляйся закону! — сказал молодой судья.

А худой и лысый человек, глядя с презрением, сделал гримасу:

— Что вы церемонитесь с ним? Не слышали разве, что он говорил?

В великом смущении Ерней замолчал и пошёл из комнаты. Долго шли по коридорам; во дворе Ерней, остановившись, повернулся к сопровождавшим его:

— Теперь, когда мы покинули притон разбойников, скажите без утайки, что вы хотите сделать со мною?

Враждебно глядя, стражники упорно молчали. Заболело сердце у Ернея от такой обиды. Он перешёл с ними через двор, остановился, старый и вдруг сгорбившийся.

— Послушайте, ведь и у разбойников есть своё право и свои законы: не воруют они и не убивают без причины. Скажите, что я вам сделал?

Ему никто не ответил.

— Смотрите, разбойники, как вы молоды и пузаты, и как я, Ерней, стар и ослабел от несчастья, иначе я снопами разбросал бы вас по двору, кулаками записал бы своё право. Но право — не яблоко, не собьёшь его палкой, да и богу это неугодно. Тяжкое бремя возложено на меня, длинный путь мне отмерен. Но я пойду им до конца!

Безграничная вера, как и безграничная печаль, были в словах Ернея. Между тем стражники раскрыли дверь и, втолкнув Ернея, заперли её на замок. Комната была мрачная; стояли там стол, две низкие койки, похожие на скамейки; голые стены глядели, как слепые глаза; даже распятая не было в углу. Окно было с решёткой. На одной из коек сидел человек в лохмотьях. Стар он был или молод, бог его знает! Волосы были редкие и растрёпанные. Лицо рябое, с короткой клочковатой порослью.

Прищуриив глаза, он весело приветствовал Ернея:

— Бог дал, сосед! Бог дал, сосед!¹ Ты, что, по воровскому делу?

Ерней смерил его долгим печальным взглядом и, подойдя к другой койке, положил на неё узел, сапоги и шляпу. Посох поставил в угол. Человек в лохмотьях смеялся всё шумнее и веселее; он был из тех, кого не дай бог встретить на дороге.

— Что ты молчишь, отец! Справедливо или нет наказание, — обрадуемся закону; сладко оно или горько, — споем судье «Аллилуйя».

Ерней сел на койку, упершись локтями в колени, и закрыл лицо ладонями. Потом, обратившись к бродяге, спросил:

— Какую обиду причинили тебе?

Бродяга чистосердечно рассмеялся.

— Обиду? Никакой обиды! Воровал я, меня схватили и посадили сюда! Всё как следует. Да и зачем им давать мне червонец, коли я сам его добуду. Хватит с меня, что предоставили обед и кровать. Правда, кровать не шикарная, и обед мог бы быть лучше, но пока я не бродяжничал и не воровал, даже такой кровати и такого обеда у меня не было. Поэтому я не жалуюсь и живу неплохо. А ты что, отец? Только на старости начал?! Что так мрачно глядишь?

Ерней смотрел в пол, а бродяга весело говорил:

— Если тяжёлый грех лежит у тебя на совести, пусть лежит укрытый и запертый. Покаяться всегда успеешь! Но унывать никогда не надо. Смотри! Я — бездельник, негодяй, бродяга, но это нимало меня не печалит. Что будет со мною завтра, что послезавтра? Завтра меня осудят, послезавтра запрут, — ну, а потом? Потом загонят в такое место, которое меньше всего для меня

¹ Обычное приветствие у словенцев при встречах.

подходит: в то село, где угораздило меня родиться. Кто там у меня: отец, мать, брат или сосед? Никого. Там, говорят, ты будешь дома. А почему там я дома? Совершенно так же могли бы загнать меня в Коромандию и сказать: «Ты будешь там дома, и нельзя тебе вернуться оттуда». А мне хочется в Любляну, в Любляне мне нравится. А тебя куда загонят?

— Загонят? — удивился Ерней. — Никуда меня не загонят! У меня своё хозяйство и свой дом!

Бродяга высоко поднял ногу и, положив колено на колено, весело засмеялся:

— Так на кой же чорт ты воровал?!

— Я — воровал? — Ерней выпрямил шею и положил руки на колени. — Не воровал я! Правду ищу и найду её! Заперли правду разбойники, и меня заперли, но придёт час, и дверь откроется.

Бродяга больше не смеялся, а только теребил усы и улыбался, как улыбается взрослый ребёнку:

— Пожалуй, ты и впрямь не воровал. Кто верит в правду, тот не убивает и не ворует. Но тем хуже, если ты не крал и не убивал, а всё-таки оказался в тюрьме. Значит, ты идёшь против закона. А с ним шутить не полагается. Если тебя, невинного, обвиняют в убийстве, — значит, ты убивал, и кончен разговор! Если подозревают тебя в воровстве, — значит, ты воровал обеими руками! Скажи только, что ты невиновен, и горе тебе! Всегда лучше прибавить ещё пару убийств, этим заслужишь снисхождение, ибо покажешься кающимся. Меня слушай и поступай, как я. Я с законами уживаюсь недурно; как соседи, иногда немного поссоримся, а потом живём мирно: сегодня они меня обойдут, а завтра я их — и выходит на квит. Когда они прижмут меня зря,

понапрасну, я не хныкаю и не обижаюсь, а грешу сразу побольше — для ровного счёта. Так и живём, как два мудреца. Не пререкайся с законом, особенно если ты невиновен, — брось это занятие! Расскажи мне лучше своё дело, может, я помогу тебе полезным советом?!

Ерней поведал ему свою историю. Бродяга до слёз рассмеялся.

— Когда выпустят тебя, Ерней, идём со мною. Я буду показывать тебя на ярмарках, по святым местам поведу, перед церковью поставлю! Эх, и житьё же нам будет весёлое!

Мрачно глядел Ерней, ни одна морщинка не шелохнулась на его щеке, ни один мускул не дрогнул.

— Не искушай бога, — сказал он. — Видно, тяжкое бремя возложил он на тебя, что изнемогло твоё сердце и богохульствуешь ты, как язычник. Испытал ты кривду и вот теперь говоришь: нет правды на земле. Камень дали тебе вместо хлеба, и вот теперь ты говоришь: нет хлеба во всём мире. Бог создал закон, и слово божие не дождевая вода, которая до вечера высохнет. Живо оно, как и в первый день создания, и коли есть упование в тебе, ты услышишь его голос и вознаграждён будешь за все страдания!

Бродяга, перестав смеяться, поглядел на Ернея презрительным взглядом.

— Не хотел бы я быть в твоём обществе, сосед! Даже в темноте я чувствую твоё присутствие. Мало утешительного в твоих словах, но знаешь, что бы я сделал, если бы согласился с тобою? Сначала убил бы судью и его помощников; затем убил бы парочку других людей, ибо все они мои злейшие враги, и, наконец, поджёг бы этот дом и сказал:

— Вот смотрите, бог ниспослал в мир справедливость. Я слышал слово его и поступил по заповедям его! Так бы я сказал и сделал, будь я на твоём месте. Но бог не создал меня апостолом, а потому я предпочитаю быть нищим. Закон бьёт меня, а я смеюсь над ним, и мы — квиты. Спокойной ночи!

— Бог смилуется над тобой, и ты ещё будешь стоять на коленях и плакать! — сказал Ерней. — Спокойнее сердце в плаче, чем в смехе, а слёзы смывают грехи и неправду.

Так разговаривали бродяга и Ерней. С наступлением ночи оба они замолчали. Бродяга был не в духе и отвернулся к стене. Ерней же стал на колени около кровати и долго молился. Он устал: бремя крепко придавило его к земле, но вера его была непоколебима.

XIV

Едва проснулся Ерней, как пришли люди и повели его. Куда? Ерней не знал.

— Ударь их, апостол, ударь! — крикнул бродяга, когда за Ернеем закрывалась дверь, но Ерней не слышал его: он молчал и, повесив голову, шёл, куда его вели. Он не чувствовал страха: его беспокоила неизвестность: мрачных дум было полно его сердце: чудилось ему, будто он плохо видит и плохо слышит, словно за ночь ослабел его разум. Понять не мог, что он сделал этим разбойникам, за что гоняют его от ворот к воротам? А его водили и гоняли много и долго, как некогда господа, от первосвященника к первосвященнику, от судьи к судье. Когда его допрашивали, Ерней отвечал по правде, без гнева и высокомерия. Много видел он начальников и прислужников. Озлобленно говорили с ним, мрач-

но смотрели на него, толкали и совали от дверей к дверям, от ворот к воротам, но Ерней не кричал и не грозил, ибо чисто было его сердце, а вера его была тверда. Он не сопротивлялся, когда ему приказывали, терпеливо сносил презрение и не обижался, когда бранили его дураком и сумасшедшим.

«Бог вразумит их и простит им, — думал Ерней. — Когда придёт конец пути и откроется правда, тогда взглянут они друг на друга и, посрамлённые, расскаются в своём грехе».

Сердце его было преисполнено надежды, хотя тело сгибалось под тяжестью скорби. Девять суток прошло с тех пор, как начал Ерней своё паломничество от порога к порогу, от судьи к судье, от Понтия к Пилату. Наконец он очутился перед жёлчным, с недобрыми глазами судьёй.

— Идите с богом и больше не показывайтесь, — сказал судья.

Ерней стоял перед ним, не двигаясь с места.

— Это ли конец моего печального пути? Таково ли ваше последнее решение?

Голос его дрожал, как у грешника перед богом.

— Тогда, за что же страдания, которые вы мне причинили?

— Стыдно тебе скитаться на старости лет, надоедая людям и ведомствам. Убирайся на родину и молись богу. Да о смерти думай.

Ерней подошёл ближе к нелюбезному судье и смиренно спросил:

— Не ослышался ли я? Хорошо ли разобрал ваши слова? Стар я, и слух у меня притупился. «Иди и больше не показывайся»? Так, значит, вы рассудили моё дело во имя бога и кесаря? Зачем же тогда совали меня в тюрьмы с ворами и разбойниками? Только для того, чтобы наткнуть-

ся на такую мудрость? Я ждал в страданиях и надеждах, а вы стояли за воротами и смеялись надо мною и моей доверчивостью? А может быть, я ослышался?

— Нет, не ослышался! Уходи и благодари бога, что умрёшь на своей постели, а не в сумасшедшем доме, куда ты стремишься!

Бедным и слабым был Ерней, слушая эти слова.

— Да простит вам бог! — сказал он, повернулся и вышел.

Только девять дней пререкался Ерней с законом и его клеветами, а уже горбилась его спина, когда он проходил через двор судебного учреждения.

Вышел он на улицу. Был светлый день. Навстречу ему попались неприветливые чужие люди, и не было никого, кому он мог бы пожаловаться на своё горе. Город был полон несправедливых судей. В страхе и скорби почувствовал Ерней, что он один с богом.

В корчме он сел отдохнуть. Там на стене он увидел изображение кесаря. Полным милости и справедливости показалось Ернею его лицо.

— Не там, где надо, искал я правды. Прямую дорогу указывал мне бог, а я лазал по тропам и камням. Вместо чистого ключа я пил из мутной лужи.

Не успев ещё отдохнуть, Ерней встал, повесил узел на плечи и направился к кесарю.

XV

Пешком отправился Ерней через чужие сёла и неизвестные края: шёл до вечера. Когда сумерки легли на поле, ноги отказались идти дальше, он сел на камень при дороге и увидел моло-

дого путника: был он босой, в пыли и, вероятно, голоден, но глаза его горели весельем.

— Куда идёшь, отец?

— К кесарю.

— Не близкий путь, раньше недели тебе не дойти, хотя б ты шёл и днём и ночью.

— Должен я попасть к нему раньше, чем умру.

— А что тебе, отец, нужно от кесаря?

— Чтоб рассудил меня по праву и наказал судей, издевавшихся над стариком!

Путник покачал головой и печально посмотрел на Ернея, сидевшего, согнувшись, на камне.

— Ничего не добьёшься, отец. Трудно попасть к кесарю!

— Почему трудно? — удивился Ерней. — Разве он в комнате заперт, в стене замурован, оградой до небес огорожен?

— Сторожа там стоят и никого к нему не пускают.

— Как? Кесари над кесарем? Хозяева над хозяином? Ты что-то путаешь по молодости лет. За правом иду я, — куда же мне идти, если не к кесарю!

Задумчив стал путник, слушавший Ернея.

— Длинный и трудный путь твой, отец! Через высокие горы лежит он, через равнины без границ. Не дойти тебе пешком, в канаву свалишься на долгий отдых! Возьми последний серебряник, что остался у тебя, да сядь на чугунку. А когда будешь в кесаревом городе и испытываешь много скорби, вспомни меня. Легче выкопать в Иванову ночь золотые сокровища, чем найти право среди бела дня!

Сказав это, путник пошёл дальше, а Ерней печально смотрел ему вслед. Такой молодой и

такой добрый, а носит уже тяготу на сгорбленной спине.

Поднялся Ерней с камня и ужаснулся, ибо ноги его окаменели, не гнулись в коленях, не позволяя ступить ни шагу.

— День-денской ходил я, бывало, из дому в поле, — вспомнил он. — А теперь какие-то сто сажень прижимают меня к земле.

Была уже ночь, когда вошёл он в корчму. Недоверчиво посмотрел на него корчмарь, неласково приветствовала хозяйка. Усталый и в пыли, Ерней походил на нищего, пришедшего попросить клоч сена, чтобы на нём умереть.

— Не смотрите на меня так и не пугайтесь, — сказал он и положил на стол серебряную монету. — Путник я, иду за правом к хозяину, раз не нашёл его у батраков.

— Куда же лежит твой путь? — спросил корчмарь.

— В кесарев город, в кесарев дворец, прямо к кесарю, — объяснил Ерней. — Люди не дали мне права, судьи не присудили его, кесарь даст его мне богатой мерой!

Хозяин и хозяйка корчмы переглянулись улыбнувшись. Ерней снимал сапоги с разболевшихся ног, и, когда, скрюченный и седой, сидя, упёрся в колени сухими пальцами, столетним стариком казался он, смотрящим в могилу.

— Принесите мне хлеба и стакан вина, — попросил он. — На скамье отдохну немного, а завтра запрягите лошадь, я поеду до чугунного возка. Стар я и, пожалуй, в самом деле не дойду до кесарского города через те высокие горы и равнины без конца и краю.

Быстро поужинал, лёг и сейчас же заснул, будто тело его захватила смерть, погасив все мысли. Проснувшись утром, корчмарь запряг ло-

шадь и поехал с Ернеем в незнакомый город. Здесь Ерней оказался в большом многолюдном зале. Зазвонили в колокол и попросили Ернея войти в железный возок. Темно и неуютно было в этой повозке. Сидело там много чужого народу, громко разговаривавшего и не приветившего Ернея, будто вошёл он, незванный, в чужую хату. Ерней сел на край скамьи, положив узел на колени. Возок затрясся и заскрипел. Ерней снял шляпу и перекрестился.

— Благослови, господи, последний путь: в руки твои предаю судьбу мою!

— Куда вы направляетесь? — спросил его сосед.

— В Вену.

Пассажиры подняли головы и с удивлением посмотрели на Ернея, на его поношенную, запятнанную одежду, на лежащий на коленях узел и сапоги за плечами.

— Зачем в Вену?

— За правом к кесарю.

Теперь пассажиры не удивлялись, а уже громко смеялись:

— Растолкуй, сосед, расскажи свою историю!

Когда Ерней рассказывал историю своих злоключений, спутники хохотали до упаду, будто слушали комедианта на ярмарке.

— Чего вы смеётесь? Я не скоморох и не паяц! — возмутился Ерней.

Пассажиры засмеялись ещё громче.

— Когда ты будешь у кесаря, что же ты ему скажешь? Расскажи об этом, чтоб нам веселей было ехать.

— Что вы за народ, что смеётесь над правдой, как над пьяной служанкой?! Где ваш бог, если вы глумитесь над его законами?!

А пассажиры делались всё веселей и веселей и смотрели на Ернея, как на ярмарочное чудо. Сосед достал бутылку водки и предложил Ернею:

— А ну-ка, выпей, развяжи язык! Уж очень интересно ты рассказываешь!

Ерней отказался от водки и замолчал.

«Что стало с людьми?—размышлял он.— Или они так много натерпелись горя, что впали в отчаяние и перестали верить в бога и его законы? Смеются, как будто я ищу тридесатое царство, а не право, богом ниспосланное и кесарем утверждённое!»

Пассажиры выходили и входили новые, говорившие на непонятном Ернею языке.

Была светлая ночь. Ерней выглянул в окно и увидел чужой, незнакомый край. Ему показалось, будто земля уходит у него из-под ног и всё кругом падает. Его охватило непонятное чувство страха. Обратившись к соседу, дремавшему в углу, он спросил:

— Сколько ещё до города, сосед, до кесарского города?

Человек открыл заспанные глаза, посмотрел на Ернея, покачал головою и снова сжался в углу.

«Не понимает», — подумал Ерней.

Ему вдруг стало страшно; сложив руки на коленях, он начал молиться, чтобы отогнать страх и укрепить свои надежды.

Весь вечер и всю ночь ехал Ерней, усталый и разбитый. Руки и ноги не шевелились, глаза слипались, едва различая приставленные к ним ладони; он уже не слышал стука колёс. Всё превратилось в какой-то тягостный бред,

XVI

Огромный, до неба гудящий город, настоящий Вавилон, на всех языках говорящий. Куда человеку скрыться, куда убежать?!'

Ерней бродил по широким и длинным улицам, по обеим сторонам которых — дворцы. Перед глазами — снующие экипажи. В ушах — шум и грохот. Много людей, спешащих и толкающих друг друга. Кого и как спросить? Со шляпой в руках, бродил он между ними и чувствовал, будто он босой и без сюртука попал перед царские врата на торжественную обедню.

«Где остановиться, где отдохнуть?» — с горечью думал он. Всё шаталось перед ним, как у пьяницы от крепкого вина. Люди казались ему неестественно высокими: на длиннейших ногах проносились они мимо него, как тени в круговороте, как носятся ряженые на масленице. У него подгибались и заплетались ноги. Хотелось отдохнуть. Он молился и просил у бога милосердия, но казалось ему, что бог далеко и что небеса не станут слушать молитвы из Вавилона. Долго он ходил, пока совсем не обессилел. Тогда, склонив голову к коленям, он прислонился к стене. Люди толкали его и шли мимо. Какой-то господин в золотых очках остановился перед ним, что-то спросил на своём языке и пошёл дальше, так как Ерней, не понимая языка, не ответил ему. Неожиданно подошёл к нему высокий, пёстро одетый человек. Он взял Ернея под руку и куда-то повёл.

— К кесарю ведите меня, прямо к кесарю! Чтобы сразу всё покончить, потому что я устал!

Ничего не ответил вожатый, только пожал плечами, а за ними шла масса народа, рассматривая Ернея и его узел.

Наконец Ерней и его вожатый пришли к большому дому и вошли в большую комнату. Там его о чём-то спрашивали, но он ничего не понимал. Его тоже не понимали.

— О чём же толковать? — сказал Ерней. — Мы друг друга не понимаем, никогда не виделись и никогда не увидимся. Дайте мне отдохнуть, ибо я сильно устал, а потом я поеду дальше. Бог не допустит, чтобы я не доехал до конца после такого большого страдания.

Он сел на скамью, а узел и сапоги положил на пол. Люди глядели на него, улыбались, но уже не заговаривали с ним. Когда он немного отдохнул, забывшись минутным сном, пришли какие-то другие люди, осмотрели его пиджак, сапоги и узел, отобрали нож и деньги, затем вывели его из дому и посадили в закрытый со всех сторон возок, похожий на тюрьму.

— Что вы делаете со мной? Куда везёте? — спросил он у сопровождавшего его человека, но не получил ответа.

Тем временем привезли его к новому дому и провели в комнату, куда пришёл человек, говорящий на его языке. Худощавый и высокий, он носил чёрную бороду и очки, как адвокат.

— Кто ты? — холодно спросил он Ернея. — Откуда и что делаешь в Вене? Объясни всё по порядку и не болтай лишнего.

Ерней весь просиял.

— Здравствуйте, господин! Я Ерней из Бетайновы, приехал искать право там, где его распределяют.

Высоко подняв брови, с удивлением слушал адвокат Ернея, который рассказал ему свою печальную историю с начала до конца.

— Как видите, надули меня, скрыли от меня моё право. А я их всех перехитрил, послушался

голоса божьего и отправился к кесарю. Проведите меня к нему!

Адвокат, загадочно улыбувшись, повернулся, чтобы уйти.

— Не уходите, господин! — воскликнул Ерней в ужасе. — Вы выслушали меня и знаете, чего я прошу! Кто мне, кроме вас, поможет в этом Вавилоне? Подайте мне руку помощи, коли вы христианин и носите бога в сердце своём! Проведите меня к кесарю!

Голос его прерывался.

— Будь спокоен. Мы проводим тебя туда, куда следует! — сказал адвокат и ушёл. Едва он закрыл дверь, как пришли стражники, схватили Ернея и увели его. Загремели ключи и засовы, раскрылась низкая дверь, и Ернея впахнули в комнату, какой он никогда ещё не видел.

Стены в этой комнате были голые и серые. Возле стен стояли низкие широкие нары, покрытые грязными лохмотьями. Стола не было. Не успел Ерней оглянуться, как за ним закрылась дверь. В комнате оказалось трое грязных оборванцев. Лица их были отвратительны, взгляд злобен, как у затравленных зверей. Таких людей ещё не приходилось видеть Ернею. По его телу пробежала дрожь.

«Права я просил, а они меня толкнули к вора́м и преступникам!» — подумал он.

Один из оборванцев поднялся с нар, поглядел угрюмо на Ернея и крикнул ему какое-то непонятное слово.

Ерней затрясся и, не оглядываясь, пошёл в задний угол и лёг там на нары. Мысли были расстроены. Сердце давила печаль. Разбитый и усталый, он не мог даже молиться. Спрятав лицо в ладони, он заплакал.

Ерней просидел три дня и три ночи в этой страшной комнате среди бандитов и преступников.

XVII

На четвёртое утро, на рассвете, дверь открылась. Ернею отдали узел, сапоги, нож и деньги и увели его из камеры, не сказав ни слова.

— Куда, люди божьи? — спросил он стражников.

Но те даже не поглядели на него. Посадив его на воз, повезли по широким улицам, под шум и гул кричащего Вавилона.

— Куда вы меня, люди божьи? — спросил снова Ерней, когда его втокнули в железный возок к бродягам и ворам. Но и на этот раз никто не оглянулся, никто не ответил. Когда загромыхали тяжёлые колёса, конвоир уселся в углу вагона, наблюдая за бродягами, которые весело смеялись. Робким взглядом огляделся Ерней по сторонам. Ему навстречу смотрели печальные, покрасневшие от слёз глаза какого-то человека.

«Этот человек тоже хлебнул горя, — промелькнуло в мыслях Ернея. — Молодое лицо, а полно скорби; и нет злобы в его сердце».

— Куда, товарищ? — спросил его Ерней.

Но тот только смотрел на Ернея и ничего не отвечал, печальная дума переливалась из глаз в глаза.

Так путешествовали они. Прошёл день, прошла ночь; их пересаживали из вагона в вагон. Менялись конвоиры.

— Куда нас везут? — спрашивал их Ерней, но никто ни разу ему не ответил. В конце концов его всё же выпустили из железного возка. Он

оглянул окрестность. Как будто он видел уже этот край, но припоминал его смутно, как сон.

— Дорогой сосед, если ты можешь говорить, скажи мне, пожалуйста, где мы находимся? — спросил он сидящего рядом с ним хмурого человека.

— На твоей родине! Два часа езды до Ресье. Путь длинный и скучный. Если есть деньги, — найми подводу.

— Ресье мне не родина! У меня там никого нет! Зачем меня сюда привезли?

Хмурый человек медленно пожал плечами и закурил трубку.

— Не канителься! До Ресье я тебя провожу, а там как знаешь.

Ерней не проговорил больше ни слова. Как ни был он утомлён, но шёл большими шагами. Красиво было вокруг: созревали нивы, высокая трава покрывала луга, но Ерней их не видел. Он шёл, упёршись взглядом в землю. Седые, нависшие брови закрывали его глаза.

Дорога вилась по косогору. В долине показалось белое село. Пришли они к дому жупана. Тот испугался, увидя Ернея:

— Зачем ты вернулся? Никто тебя не звал. Пришёл, чтоб на старости лет объедать общину.

— Никого объедать я не стану, — сказал Ерней. — Дайте мне клок сена, чтобы я мог отдохнуть!

Он пошёл в хлев и лёг на сено. Лежал он долго и, не засыпая, беседовал с богом. Теперь он разговаривал с ним не как батрак с хозяином, а как заимодавец с должником.

— Ты дал людям закон, но они спрятали его. Нет его у хозяев, нет у судей, нет и у кесаря! Теперь вся надежда только на тебя. К тебе прибегаю я, батрак Ерней. Твой закон — в моём сер-

дце, твою заповедь я исполняю. Да не исчезнет моя вера в тебя! Прости свою десницу, о всемогущий боже, и сотвори свой правый суд!

Так разговаривал Ерней с богом и долго ночью молился. А когда зарумянилось утро, встал и пошёл, не простившись с хозяевами. Долго шёл. Три раза садился отдыхать. В сумерки пришёл в Бетайнову.

— Неужели это Ерней? — удивлялись видевшие его.

В лохмотьях и в пыли, сгорбленный, седой старик. «Смотрите, неужели это Ерней?» — Удивлённые взгляды провожали его всю дорогу.

Ерней шёл, не оглядываясь. Никого не приветствовал, ни с кем не заговаривал. И даже туда не взглянул, где стоял белый дом. Пошёл прямо к жупнику¹. Любезный был жупник, толстый и красный. Он заулыбался.

— А, Ерней! Куда ты паломничал, что стал такой старый и слабый?

Ерней остановился перед дверью, выпрямив сгорбленную спину. Из-под нависших бровей засветились его глаза.

— Не сяду я отдыхать, хотя очень устал. Много я странствовал. Правду искал. От жупана к судье, от судьи к кесарю! Нет правды под небом! Закопали её в землю, тяжёлой плитой придавили. Бесполезно искать её среди людей. Ищу я её теперь у бога, который судья над всеми судьями. Раскройте писание, служитель божий; растолкуйте мне слово божие и рассудите моё дело по закону.

Жупник подошёл к Ернею, схватил его за руку.

¹ Настоятель прихода.

— О Ерней! Много зла сделали тебе. Не похристиански поступили с тобой, да простит их бог!

Ерней свирепо посмотрел священнику в лицо и заговорил твёрдым и решительным голосом:

— Не о прощении сейчас речь! О правде говорю я! Рассудите меня по слову божию, по его учению, по его заповедям. Вы служитель божий! Вашими устами говорит бог! Скажите, на чьей он стороне: на моей или на стороне судей! Вот что растолкуйте! Устал я и хочу отдыха.

— Коварны твои мысли, Ерней!

— Рассудите по закону!

— Уклонись, Ерней, уклонись от зла и сотвори благо!

— Бесконечно ли справедлив бог? Где его милосердие, где его правда? Моё хозяйство по его закону — чьё оно? Вот что растолкуйте мне вы, служитель бога!

Твёрдым и упрямым был взгляд Ернея. Лицо его окаменело. Скорбь ушла из сердца.

— Есть ли право у бога, или нет? — настаивал он.

— Богохульство твои слова, Ерней, — ужаснулся жупник и отступил на шаг. — Если говоришь с богом, не требуй, не вопрошай, а стань на колени, молись, проси и плачь!

— Не буду просить, не стану плакать! Я пришёл за своим правом. Должник он мой, не на коленях, а на ногах стою я перед ним и требую.

Была ещё кровь в жилах у Ернея: ударила она ему в лицо — покраснели щёки, лоб, задрожали губы.

— Скажите слово, которого я ждал столько горьких дней. Есть право или его нет? Есть ли бог, или его тоже нет?

При этих словах жупник, вытянув дрожащую руку, отступил к стене.

— Прочь, неверующий! — кричал он.

Ерней всё ещё ждал, глядя ясным, упорным взглядом.

— Прочь, богохульник! — кричал жупник.

Медленно повернулся Ерней и твёрдыми шагами ушёл от священника, уже не сторбленный и не больной. В сердце не было больше скорби, как не было там и надежды.

XVIII

Спускались сумерки. С поля возвращались крестьяне и их работники. В это время на крыше Ситарова дома появился петух, красный и тенький, и взвился к небу. Затем появились петухи на гумне и в хлеве, на конюшне, на обеих сушилках. Большое и сильное пламя прыгало от земли до самого неба. Горящие головни падали кругом на созревшее поле, словно разбрасываемые человеческой рукой. Так зажёг Ерней свой страшный факел.

Люди, дрожа, стояли, как зачарованные: кому погасить этот огонь, гонимый ветром, как горящее облако, через всю долину; летящий к беззвёздному небу, как исполинская птица с огненными крыльями? С обнажёнными головами, бледные и испуганные, стояли они, глядя на страшное зрелище. Беспомощные и слабые, стонали они, бессвязно лепеча молитвы.

И вот появился среди них высокий, с обгоревшими руками и обожжёнными волосами Ерней. Он смеялся весёлым, безудержным смехом.

— За трубкой ходил, милые мои! Не хотел, чтобы сгорела моя трубка, забытая в доме, когда отправлялся я в путь. Ну, какво горит мой дом?

Весело горит? У кого есть трубка, пусть закурит, —огня хватит на всех.

Взяв в рот трубку и подбоченившись, он любовался пожаром.

— Ерней поджёт!

Едва успели это крикнуть, как потемнел свет в глазах Ернея, и он упал на землю.

— Бейте его, бейте его!

Горящими головнями били Ернея, каблуками с подковами топтали его тело.

— В огонь его!

Схватили и потащили его, окровавленного и обгоревшего, и, раскачав, бросили в пламя.

Когда его палачи вышли из огня, чёрными и обгорелыми были их руки и лица.

Высоко поднимаясь, взлетали искры бушующего и гудящего пламени.

Вот что произошло в Бетайнове.

ПОВЕСТЬ О СИМОНЕ СИРОТНИКЕ

I

Повесть, которую я вам расскажу, начинается с того времени, когда Симону исполнилось пятьдесят лет. В городе люди старятся быстрее, чем в деревне. Как только минет человеку тридцать лет, сгибается у него спина, пропадает на лице румянец. Чёрная городская пыль пьёт кровь, как воду.

Пятьдесят лет исполнилось Симону, хворому старику. Он был кузнецом, тридцать лет служил своему хозяину; и всё это время он стоял на одном и том же месте, у наковальни, так что земля осела на целую пядь под его ногами. Через трид-

цать лет руки отказались ему служить, не могли поднять молота.

Тогда хозяин сказал ему:

— Служил ты мне верно, Симон, долгих тридцать лет. Теперь руки твои ослабли, Симон; клади молот и иди с богом, куда тебе велит сердце!

Так сказал хозяин, потому что закон для рабочего человека таков: в молодости наливает он другим вино, а в старости пьёт полынь.

Симон не стал спорить ни с богом, ни с людьми. Сказал: «Лягу в постель и подожду смерти». Так и сделал. Но смерть не пришла.

Пришли голод, усталость и болезнь. И подумал Симон: «Сказывают, будто есть правда на свете, пойду узнавать, где правда и какая она». И отправился в путь искать правду. Но, когда он говорил о правде, люди смеялись ему в лицо. Удивился он и подумал: «Времена изменились; видно, то, что мы называли правдой, умерло или называется по-другому: ведь даже собаке дают кости, а для старика нет и сухой корки хлеба!»

Но недолго думал Симон. Пришёл хозяин дома, где он жил на квартире, пришёл и сказал:

— Тридцать лет жил ты в этом доме, Симон, и всегда платил во-время, почему же теперь не платишь?

Симон удивился:

— Чем же мне платить, когда нет работы, я уже состарился; дайте мне умереть спокойно.

— Нет, Симон, без денег я тебе не позволю тут умирать. Иди, куда тебе велит сердце!

Симон связал свой узелок и ушёл. Всё больше он дивился и, качая головой, говорил про себя: «Видно, правда не такая вещь, чтобы давалась человеку в руки, видно, выдумали её люди, как сказку для детей».

Но он не стал спорить ни с богом, ни с людьми и решил: «Если не в каморке, если не в кровати, умру на большой дороге. Оттуда телу ближе к могиле, а душа сама найдёт свой путь».

Так и сделал: лёг у большой дороги, а узел положил себе под голову, чтобы спокойно уснуть.

Но пришли люди и сказали:

— Смотрите, вот разбойник, среди белого дня хочет умереть на большой дороге!

Вздыхнул Симон и встал.

— Мне и самому хотелось бы умереть под кровом, люди добрые.

Но они не стали его слушать, повели к судье и обвинили в том, что он хотел умереть на большой дороге.

— Почему ты бродяжничаешь, почему не работаешь? — рассердился судья.

— Я бы работал, — ответил Симон, — да руки не хотят, не могут больше работать.

— Откуда ты? — спросил его судья.

Непонятно было Симону, зачем об этом спрашивают. Молчал он и думал, и горько было у него на сердце.

— Откуда ты? — снова спросил судья.

— Издалека, ох, издалека; и давно не бывал там! — сказал Симон. — Лет тридцать пять, а то и больше, мои глаза не видали тех мест. Теперь мне их и не узнать!

— Что такое? — сказал судья. Он был сердит, потому что глаза судьи смотрят на бумагу, а не в сердце человека. — Отвечай, когда тебя спрашивают, и не пой Лазаря! Скажи, откуда ты, и мы отправим тебя на родину, чтобы ты не бродяжничал в чужих краях без дела.

Симон отвечал:

— Родился я в Присойницах, так написано в

бумагах; только я уже забыл те места и не узнал бы их даже во сне...

Ни о чём больше его не спрашивали; схватили и потащили, как вора, в тюрьму.

Симон говорил стражникам, старался объяснить им:

— Но ведь я ничего другого не хочу, как только умереть спокойно на большой дороге. К чему меня таскать по свету: дорога дальняя и, верно, стоит недёшево.

Стражники не послушались его, заперли в тесную грязную камеру с высоким решётчатым окошком.

«Чудные дела творятся на свете, — подумал Симон, когда очутился один. — Когда я был ещё молод и силён, двадцать долгих лет тосковал я о тех краях, где умерли отец и мать, дай бог им царство небесное. Двадцать лет тосковал, пока, наконец, и сама тоска не умерла во мне. А теперь, когда я стал стар и слаб, теперь, когда желал бы спокойно уснуть, гонят меня в тот край, который ничего не говорит моему сердцу. Слишком я устал и не в силах понять это!

Когда стало светать, и он проснулся, открыли дверь и позвали его. Симон встал, взял узелок и пошёл, куда ему указали.

«Если не хотят, чтобы я умер на большой дороге, пусть везут меня, куда им хочется!» Так он думал и не стал прекословить.

Долго гнали Симона по улицам, наконец, посадили его в железный возок. Симон вздохнул и перекрестился.

«Если приказывают ехать, — поедем! Может быть, даст бог, ещё по дороге душа соскучится в этих старых костях!»

Но бог этого не дал. Поезд двигался медленно, как заржавевший часовой механизм. Останав-

ливался каждый час и подолгу стоял в открытом поле; ведь такой люд, который другим в тягость, не ездит в скорых поездах. Время от времени Симон развязывал свой узелок и закусывал ломтём хлеба и крохотным кусочком сала, но как ни бережливо отмеривал он еду, узелок становился всё более тощим. Симона это не тревожило: «Нужно, чтобы человек обедал, когда время обедать, и ужинал, когда время ужинать; а во всём остальном да будет воля божья».

Он смотрел в окошко и видел то тёмные горы, то зелёные поля, то голые скалы, то тучные нивы. Леса и пастбища, маленькие церковки, затерявшиеся в горах, сёла и города — всё так чудесно чередовалось, мелькало перед его глазами; но всё это было ему чужое.

«Далеко ещё, видать, до тех мест, о которых говорят, что они моя родина. Может, я ещё узнаю их, если не глазами, то сердцем. Бог даст, стражники не спутают и высадят меня там, где нужно».

На третью ночь стало тяжело у него на сердце, и по этому узнал он, что, должно быть, близки те места.

«Что-то будет? — подумал он. — Каковы они, эти края, и каковы там люди? Узнаю ли я родной дом, пойму ли людскую речь? Как меня встретят, если меня никто не знает в лицо и я никого не знаю?»

Так он раздумывал и заснул, свесив голову. Едва он задремал, как его разбудили стражники. Начинало рассветать.

— Что ты, вечно будешь спать? Поезд стоит уже полчаса, а ты всё храпишь. Вставай и выходи, ты дома!

Симон встал, вышел из вагона и посмотрел кругом.

— Так это моя родина, говорите вы?

Но он не узнавал этих красивых мест: зелёные волнистые холмы, белые сёла на склонах, тёмные леса вдаль. К Симону подошёл худой и сгорбленный старик, ворчливый старик с толстой палкой в руках.

— Значит, это ты и есть? — спросил старик Симона. — Это тебя мы должны кормить за дарма?

— Не знаю, — сказал Симон. — Но если вы ищете Симона из Присойниц, то я и есть Симон.

Недовольным взглядом смерил его старик.

— Я Сотский из Присойниц. Иди за мной, там узнаем, кто ты такой и почему нам прислали тебя, когда у нас и без тебя много лишнего народа.

Станция стояла среди нив и скошенных лугов. Сотский с Симоном пустились в путь.

— Что, далеко ещё до Присойниц? — спросил Симон, потому что не знал дороги, а ещё и потому, что ему хотелось немножко поговорить.

— Смотрите на него! — сурово заметил сотский. — На мирские деньги приехал сюда, собирается есть мирской хлеб, а даже дороги не знает.

— Откуда же мне знать дорогу, милый, — отвечал ему Симон. — Что верно, то верно, родился я в этих краях, об этом и в бумагах написано, да только не видал я их около сорока лет.

— Как! — вскрикнул сотский. — Сорок лет! Сорок лет бродяжничал бог знает где, а теперь, когда стал никуда не годен, приехал на даровые хлеба! И тебе не стыдно?

— Чего же мне стыдиться? — возразил Симон кротко и без гнева. — Хотел я умереть в постели, а меня из дому выгнали. Лёг я у большой дороги, а меня с земли подняли. Я не просил, а меня

посадили в вагон и повезли. Если в этом есть какая-нибудь вина и стыд, говори это другим, а не мне!..

— Законы пишут господ, пишут, как им нравится! — сказал ворчливый старик-сотский и замолк.

Пригретое солнечным утром засветилось вдаль белое село. Симон прикрыл глаза рукою. Слепило глаза от солнца и блеска белых хат. И вдруг показалось ему, что когда-то, словно в давно забытом сне, он видел эти места.

Сотский протянул руку, указывая вдаль:

— Там внизу Присойницы!

Вот с чего начинается эта повесть.

II

Пошли сотский с Симоном к жупану.

Неприветливо посмотрел на них жупан, неприветливо поздоровался.

— Значит, привёз-таки бродягу, — сказал он и смерил Симона взглядом, словно купец вола.

— Привёз! — подтвердил сотский и посмотрел на Симона укоризненно, точно хотел ему сказать: «Ох, и надоело же мне с тобой возиться, бродяга». А Симон сказал:

— Я уже говорил, что лучше бы умереть мне на большой дороге, чем стать в тягость людям. Только о чём же тут спорить, если закон таков, что сажают человека в вагон, хочет он этого или не хочет.

Жупан немножко подумал.

— Так ты из Присойниц, говоришь?

— Говорят, что отсюда.

— Это ещё что такое — «говорят»? Да или нет, я тебя спрашиваю!

— Что же мне отвечать? — незлобно улыба-

нулся Симон. — Начальник сказал, что я из Присойниц, и в бумагах то же написано. О чём же тут спорить?

Жупан задумался и долго молчал.

— Ты никогда не бывал в этих краях?

Спокойно и вежливо отвечал Симон:

— Что я родился здесь, об этом написано в бумагах. Но не узнаю я этих мест и почти не помню их. Десять лет мне было, а может быть, ещё не было и десяти, когда я осиротел и ушёл отсюда. Потом через несколько лет, не зная, куда приклонить голову, проходил я через эту долину ночью, и глаза мои были заплаканы... Не видал я этих мест с тех пор, как вырос и окрепла моя память.

Жупан смотрел всё строже.

— Сам не знаешь, родился ты в этих краях или не родился! Сам говоришь, что не узнаёшь ни места, ни людей. А приходишь сюда нам на горе, когда у нас и своей нужды довольно. Где же ты был до сих пор, кому ты служил и кто кормил тебя?

— Не сердись, жупан, — уговаривал его Симон, — я ведь сказал, что не своей волей пришёл к тебе. А служил я в городе кузнецом. Тридцать лет простоял у одной и той же наковальни; так что ноги на целую пядь ушли в землю. Теперь же руки мои не поднимают больше молота, и ноги трясутся. И приказал хозяин так: «Довольно ты поработал, иди, куда знаешь!» Как же мне спорить с людьми, которые пишут законы? Хотел я умереть на большой дороге, а господа сказали, что так не полагается. Погрузили меня в вагон, как мешок овса, и послали сюда, сказав мне: «Там твоя родина, там и умирай!» Теперь, жупан, сам посуди, чей это грех?

Жупан ударил кулаком по столу так сильно, что вздрогнули сотский и Симон.

— Тридцать лет прослужил ты и не выслужил себе куска хлеба на старости лет, не выслужил угла, чтобы умереть по-христиански! Ты, верно, всё пропивал, разбойник?

Симон усмехнулся:

— Где же рабочему копить деньги! Поставь перед наковальней хоть святого, хоть самого Иоанна Крестителя, который питался саранчой, а хозяин и ему скажет: «Иоанн Креститель, ты питаешься саранчой, на что тебе серебро и золото? Работай на меня даром!» Нет, жупан, ничего я не пропил, по каплям истекал я кровью, там она, в чёрной земле, что утоптана моими ногами. Когда я отдал последнюю каплю, сказал мне! «Уходи!» Таков уж закон на этом свете.

Нахмурился жупан. В конце концов вздохнул и сказал:

— Станный это закон, но кто же спорит с законами? Господа их писали, как им нравится! Рассудили, что человек должен умереть там, где он не жил, и получать с тех, кому не давал! Свет стоит на голове, и не нам поставить его на ноги. Покажи, что у тебя там написано, чтобы знать, что с тобой делать.

Симон положил на стол пожелтевшую бумагу:

— Вот всё, что у меня есть!

Немного слов было на бумаге, но жупан читал их очень долго:

— Значит, ты родился в Присойницах... номер девяносто девять...

Задумался жупан:

— Ведь и я здесь родился в Присойницах, знаю всю общину, как свою ладонь... а номера девяносто девятого не знаю!

Долго он раздумывал, потом повернулся к сотскому:

— Ты знаешь, Мартинец, где номер девяносто девятый?

Задумался и сотский, высоко подняв брови и качая головой:

— Почём же я знаю, где он и чей? Бродяга сам должен знать, где он родился!

Симон кротко посмотрел на него.

— Я и села не узнаю, где же мне узнать номер?

Все трое глядели друг на друга и не знали, как им быть.

Тогда осенила жупана мысль, такая приятная, что сразу его лицо прояснилось.

— Ты говоришь, тебя зовут Симоном, а фамилия твоя Сиротник.

— Так точно.

Жупан посмотрел на сотского.

— Теперь скажи мне, Мартинец, живёт ли в Присойницах кто-нибудь из Сиротников?

— Сирот много, а Сиротников нет, — ответил сотский.

Всё больше прояснялось лицо жупана.

— Кажется мне, Сиротник Симон, что твоя правда не держится на ногах, как и ты сам. Отвечай, Мартинец, чей номер девяносто восьмой?

— Меячевых.

— Меячевых. А чей номер сотый?

— Прункова.

Тогда и у сотского прояснилось лицо, а жупан весело засмеялся:

— Боюсь, Сиротник Симон, что не придётся тебе есть присойницкий хлеб и лежать на присойницкой соломе! Законы пишутся, чтобы обмануть человека, но и закон тоже можно обмануть, слава богу. Иди же за мной, Симон, и ты, Мартинец, иди с нами, чтобы правда вышла наружу,

— Идём, — сказал Симон, который привык ко всякому худу и никогда не спорил. И постеснялся он добавить, что устал с дороги, от голода и старости.

«Куда-нибудь да придём, — подумал он, — а сердитое слово никогда не приносит добра».

Так они трое и пошли через село. Симон посередине, жупан с одного боку, сотский с другого. К ним пристал крестьянин, чтобы поглядеть на бродягу, потом крестьянка, потом ещё крестьянин и ещё крестьянка — и пошли по селу, как хоро-вод. Больше всего было ребятишек, которые гамом провожали бродягу.

Жупан остановился перед домом Меячевых.

— Это номер девяносто восьмой, — сказал он. Потом показал палкой через поле:

— Там межа между Присойницами и Осойницами. А что по ту сторону межи, люди божьи?

Все посмотрели в ту сторону.

— На той стороне, на осойницкой земле, груда камней: белеют они на солнце, все вы их видите. Вот там, где лежат эти камни, и был номер девяносто девятый.

— Верно! — подтвердил старый крестьянин, который стоял за сотским.

Жупан же продолжал говорить:

— То была деревянная халупа, поставленная на камнях. Чья была эта халупа, один бог знает! Там проживали все те, у кого не было своего крова, кто не сажал ни фасоли, ни картошки. Там проживали и Сиротники. Если они там и вымерли, пусть упокоит их бог на веки вечные! Последний из тех Сиротников находится среди нас, имя ему Симон. Власти прислали к нам этого бродягу на житьё!

Все слушатели, сколько их было, хмуро посмотрели на Симона.

Симон кротко улыбнулся и сказал:

— Таков закон, о чём же тут спорить?

Жупан же продолжал:

— А теперь подумаем хорошенько, люди добрые! Где лежат те камни: на присойницкой или на осойницкой земле? Никто их не двигал, как они лежали, так и лежат. Халупа сгорела, камни остались; человек до них не дотронулся: смотрите, как они заросли репейником и колючками.

Жупан рассказал и объяснил всё, как было: когда в старые годы после долгих споров установили границу между осойницкой и присойницкой общинами, вышло так, что погорелое место перешло к Осойницам. Никто не заикнулся тогда об этих камнях, и никто не смог бы рассказать, чьи они, поэтому и не стоило пререкаться из-за них. Только старики ещё помнили Сиротников, последних обитателей халупы, но никому не было известно, вымерли ли они, или разошлись по белу свету. Вспоминали, что ветер занёс искру с Меячевой крыши и спалила эта искра халупу, которая сгорела дотла, как солома. Никто не тушил пожар: к чему? Пепел разнесло ветром, обгорелые брёвна разобрали бедняки, камни же остались на вечные времена, и оплело их колючками и репейником.

Жупан показал на Симона.

— Посмотрите на этого человека, что стоит среди нас, как грешник за церковными дверями; к нам его прислали власти, чтобы мы его кормили даром. Этот человек — Сиротник, последний из тех, которые жили в номере девяносто девятом. Кто должен его кормить, спрашиваю я вас, Присойницы или Осойницы?

— Осойницы! — в один голос отозвались все слушатели, сколько их было.

— Пускай Осойницы, — добродушно улыбнул-

его зовут и кто он такой. Веди-ка его обратно, откуда пригнал, бог с ним!

Сотский не поддавался и разъяснил дальше:

— Родился он на том месте, где когда-то стоял присойницкий номер девяносто девятый и где теперь лежит груда камней на осойницкой земле. Ясно, как день, что он родился в общине осойницкой. Вот, возьмите его, кормите, ухаживайте за ним по совести, чтобы он умер спокойно.

Такое бесстыдное лицемерие сильно разгневало осойницкого жупана.

— Смотрите на жупана присойницкого! Ему нечем кормить своих бедняков, так он посылает их сюда! Если в книгах записано, что он родился в Присойницах, значит, так оно и есть, и присойницкая община должна его кормить на старости лет! Вы скареды, а сверх того глупцы. Убирайтесь, откуда пришли.

Жупан сердито кричал, и на улице собралось много осойницких сельчан. Когда они услышали, кто такой Симон и зачем он у них, они разозлились, подняли шум; сотский струсил и решил не заводить ссоры на чужой земле.

— Люди добрые, зачем сердиться,—уговаривал он,— лучше узнать, где правда и где ошибка. Всему причина вот этот несчастный дармоед, которого бог послал нам за наши грехи.

Осойничане и тут не успокоились.

— Не нам,—возразил жупан,— и не за наши грехи, а вам послал его бог, и он хорошо знал за что! Не по-христиански так говорить о хвором старике, как о разбойнике; у вас в Присойницах не учат, что ли, закону божьему? Отправляйтесь-ка домой подобру-поздорову и смотрите, чтобы старика кормили досыта и спать укладывали на мягком!

Осойницкий сотский, который был не так-то прост, сказал:

— Знаю я этого Мартинца, всегда он был человек бестолковый. Легко может случиться, что нарочно по дороге потеряет он этого дармоеда, подкинет его нам, как пустую торбу, и скажет потом: «Коли он у вас, так и смотрите за ним!»

— Умно ты говорил, Андреец! — похвалил его жупан. — Ступай за ними и смотри в оба, чтобы эта смола присойницкая не оставила дармоеда на нашей земле.

Сотский Андреец ответил:

— Я пойду, раз ты приказываешь, жупан, и буду смотреть в оба. Только почём знать, не ждёт ли нас на меже великое присойницкое войско? Прислали к нам дармоеда, словно насмех, и думаю, не пустят его обратно на свою землю. Все они контрабандисты.

— И опять ты умно сказал, Андреец! Пойдёмте все, сколько нас есть, и посмотрим, чтобы всё было сделано по правде и по закону.

И все, сколько их было, повалили по дороге в Присойницы. Впереди шёл Симон и оба сотские, за ними жупан, а за жупаном половина общины осойницкой.

— Власть есть власть, и человеку не под силу с ней спорить. Да будет воля божья! — сказал про себя Симон.

Он устал, и ноги у него заплетались.

— Эй, дармоед, что шатаешься? — окрикнул его осойницкий сотский.

— Стар я, хотелось бы отдохнуть, — сказал Симон.

— Отдохнёшь, скоро будешь отдыхать там, где дадут тебе кровать и кусок хлеба. А здесь, на земле осойницкой, нет тебе отдыха!

«Может быть, всё-таки дойду, — подумал Симон. — Ведь не помру же я стоя!»

И пошёл. Так как он сильно спотыкался, сотские взяли его под руки. Жупан поглядел на длинное, в три погибели согнутое тело и ноги, которые на каждом шагу отказывались итти, и крикнул:

— Подхватите его получше и держите крепко. Если, не дай бог, что-нибудь случится на нашей земле, будет неприятность и тогда нам не отделаться от дармоеда.

Симон хотя и устал, оглянулся через плечо и улыбнулся.

— Не сердись, жупан, так велит закон.

Они дошли до межи.

— А ведь ты не ошибся, Андреец, — воскликнул жупан, — смотри, сколько их там собралось!

По ту сторону межи дожидались присойницкие селяне, чтобы посмотреть, всё ли делается по правде и по закону.

Когда вражеские силы завидели друг друга, с обеих сторон поднялся такой шум, что нельзя было разобрать ни слова. Осойницкий сотский толкал Симона через межу, присойницкий сотский его отпихивал. Симон не защищался и не говорил ни слова.

«Кажётся, я всё-таки умру стоя», — подумал он.

Оба жупана побоялись, как бы перебранка не перешла во что-нибудь иное, после чего не обещаясь хлопот, поэтому оба сразу приказали:

— Мир с вами, люди божьи, пусть умная речь нас рассудит.

Селяне с обеих сторон замолчали.

Сперва поднял голос осойницкий жупан:

— Что ты, помешался, что ли, выкидываешь

такое, что и озорнику в голову не придёт. Если не знаешь законов, не лезь в жупаны!

Присойницкий жупан ему ответил:

— Я-то знаю законы, оттого и отправил дармоеда туда, куда надо! Открой глаза, посмотри-ка на эти камни и скажи, на чьей земле они лежат?

— Положи себе в карман эти камни! Что написано и скреплено печатью, того не вычеркнет твой язык: а написано, что дармоед родился в Присойницах. Начальство тебе его поручило; значит, делай, как тебе указано.

— Не мог дармоед родиться в Присойницах, если его халупа стояла в Осойницах. Её там и по сей день помнят. Вот и бери себе дармоеда, коли бог послал.

Жупан осойницкий на это злобно усмехнулся и спросил:

— А что бы ты сделал, если бы дармоед приехал в золотой карете на четвёрке с серебряной сбруей? Совал бы ты его тогда через межу, если бы ему захотелось остаться на твоей стороне? Небось, сказал бы: «Пусть платит налоги и подати, где хочет». А бедняка ты суёшь через межу и не хочешь ему дать даже корки хлеба.

Тогда обернулся присойницкий жупан к своим сельчанам:

— Слыхали? Ему нет дела до правды, была бы у бедняка корка хлеба!

Но и осойницкий жупан обратился к своим односельчанам:

— Правда велит ему жаждающего напоить и голодного накормить, а он суёт его через межу, да ещё других попрекает жадностью.

Опять поднялся с обеих сторон шум и гам; опять толкали сотские через межу Симона, а он

повис, у них на руках и не сопротивлялся ни словом, ни делом.

Мужчины смотрели мрачно и засучивали рукава, женщины кричали, дети уже подбирали камни, и по всему было видно, что буря близка. Но оба жупана во-время вспомнили, что драка была бы невыгодна: всё равно Симон остался бы на меже, а правды они так бы и не добились. И оба сразу крикнули:

— Не ссорьтесь, люди божьи!

Первым заговорил осойницкий жупан:

— Так нам не добиться правды! Мы им слово, а они нам два. Власти запутали это дело, пусть власти и распутают. Потерпите, сельчане, не лезьте в драку!

Заговорил также и присойницкий жупан и сказал своим сельчанам:

— Не надо сердиться на такие слова: лёлет, это уж ему от природы так полагается. Поэтому потерпите, пока правда объявится.

Тогда заговорили оба сотские, вспотевшие и заморённые:

— А куда же девать дармоеда?

Жупаны посмотрели друг на друга.

— Зачем торговаться? — сказал присойницкий жупан. — Отвести его туда, где стоял его дом, пусть он там и остаётся до тех пор, пока правда объявится, — и показал палкой на камни.

Осойницкий жупан усомнился, не скрывается ли за этим какая-нибудь пакость, поэтому он сказал:

— Хочешь положить его на осойницкой земле? А потом скажешь: там он лежал, там пусть и остаётся. Контрабандист и рассуждает по-контрабандистски, а не по-христиански.

— Пускай власть скажет своё слово, — возразил присойницкий жупан. — Она напутала, пу-

скай сама и распутывает. А до тех пор этот дармоед Симон подождёт на белых камнях; не видеть же ему в воздухе до конца дней своих.

— Ну, ладно, — согласился осойницкий жупан. — Пусть ложится на те камни и лежит, не шевелясь. Андреец, смотри, чтобы он не сдвинулся с места. А лицом пусть повернётся к Присойницам.

Так решили жупаны. Сотские взяли под руки Симона и положили на камни, накалённые полуденным солнцем. Симон вздохнул и, как только прилёг, задремал. Лицом его повернули к присойницкой земле, прямо к солнцу.

Покончив с этим делом, жупаны отправились по домам, а сельчане пошли вслед за ними. Тотчас после обеда жупаны запрягли коней и погна-ли в город. Обе повозки так отчаянно неслись, что целые полчаса на дороге после них стояла пыль.

Симон спал на горячих камнях; с одной стороны на траве около него лежал присойницкий сотский, с другой осойницкий.

IV

Симон спал, и вот что ему снилось.

Бог благословил его несметным богатством. Но золото не ожесточило его сердца и не преисполнило его гордостью. В счастье вспомнил он родину и потянуло его туда, как ребёнка к матери. Приказал он слугам, чтобы запрягли двенадцать белых коней в золотую карету, пустился в путь и ещё засветло примчался в Присойницы. Там встретили его, как господаря. С холмов гремели пушки, перед приходской церковью стояли высокие хоругви, а посреди дороги воздвигнута была величественная триумфальная арка, увитая зе-

ленью; на арке большими красными буквами было написано: «Добро пожаловать». Порадовала Симона такая любовь. Почти забыл он родину, а вот родина не забыла его, признала его своим и встретила с распростёртыми объятиями. От этих приятных мыслей отвлек его шум и гам. Появился осойницкий жупан со всеми своими сельчанами. «Что это за балаган! — закричал он. «Устанавливайте знамена и триумфальные арки своим сельчанам, а не нашим!» — И без дальних слов схватил под уздцы переднюю пару белых коней, запряжённых в золотую карету. Тогда подскочил присойницкий жупан, вырывая у него уздцы, и закричал во всё горло: «Пусти сейчас же, Иуда Искариот! Смотри, вот бумага, если умеешь читать. В Присойницах он родился, Присойницам и достанется, так велит закон. Пусти!» Осойницкий жупан не пускал и кричал ещё громче: «Ты пусти, вор, контрабандист! Видишь эти камни? Чьи они, на чьей земле лежат?» — «Положи их себе в карман, если они тебе нравятся. Что написано, то написано. Не будешь же ты спорить с законом и правдой». — «На тех камнях стоял его дом. Там он родился, там и останется». — «Мне дела нет до тех камней, пусть лежат, как лежали. Моя правда — вот она, бумага с печатью — пусти!» Тогда осойницкий жупан злобно засмеялся и сказал: «Что бы ты сделал и как бы ты рассуждал, если бы он приехал не в золотой карете, а пригнали бы его сотские, бродягустарика, сироту бездомного?» Без конца ругались и толкались оба жупана; на подмогу им подоспели сотские, в конце концов схватились драться и сельчане. Мужчины ругались, женщины плакали, дети кричали. Время шло час за часом, а Симон всё сидел в золотой карете и томился от голода и жажды. Непоены, некормлены были и бе-

лые кони. Наскучило им смотреть на бессмысленную драку, и они тронулись с места. Сельчане присойницкие и осойницкие только рты раскрыли, когда золотая карета вдруг помчалась по долине. Пыль поднялась столбом, солнце припекало всю; Симон же сидел на бархатных подушках в золотой карете и томился от голода и жажды. Губы у него запеклись, перед глазами стоял туман, в голове стучали сотни тяжёлых молотов. И подумал он: «О чём тут спорить, знать, суждено мне умереть от голода и жажды в золотой карете из-за чрезмерного радушия земляков!» Нагнул он голову и свалился на дорогу...

Вот что снилось Симону. Когда же он проснулся, солнце садилось за гору; половина долины была уже в тени. Сотские лежали на траве и оба спали.

Симон попытался подняться: был он так слаб, будто проспал десять долгих лет. Хотел встать на ноги, да ноги его больше не держали, только щебень под ними захрустел, и проснулись оба сотских.

— Куда ты? — крикнули оба и вскочили.

— Никуда... — кротко улыбнулся Симон, — если бы мои бедные ноги ещё носили меня, не стал бы я вас спрашивать, куда мне идти. Спите спокойно, и я буду спать.

Скоро вся долина покрылась тенью, только верхушки гор ещё светились, а над ними плыли по небу белые облака.

Сотские проснулись, зевнули и посмотрели на Симона,

— Что ты сидишь, скрючившись, как смерть? — окликнул его присойницкий сотский.

— Встряхни его, жив ли он? — посоветовал осойницкий. И присойницкий сотский так крепко встряхнул Симона за плечи, что тот свалился на-

земь. Ничего не сказал Симон, потому что язык у него было словно скован, только улыбнулся и предостерёг сотского одними глазами.

Глаза говорили: «Эти камни мои, так написано в бумаге, не тряси меня на моих камнях».

Сотский укоризненно посмотрел на него и сказал:

— Похоже, что ты вздумал умереть, отложи смерть, пока выяснится дело. Ждал же ты до сумерек, подожди ещё до ночи. Помни: твоя душа не имеет права уйти отсюда без разрешения и приказа. Закон есть закон, он установлен богом, ты же только человек, рождённый от женщины.

И Симон, услышав эти мудрые слова, опустил голову.

С приближением вечера стали сходиться сельчане, чтобы услышать правду. По обе стороны межи прилегли они на траву; и вина, и хлеба, и мяса принесли они с собой. Пили и ели, кричали и разговаривали, пока совсем не стемнело.

Симон поднял голову, понюхал воздух, потому что и до него дошёл приятный запах съестного. Запах этот одурманил его, потемнело у него в глазах, и он повалился на камни.

— Я голоден, — промолвил он и не произнёс ничего больше, только губы его улыбались.

V

Звонили к вечерне, когда оба жупана возвращались из города. В пень загнали они лошадей. Когда они ехали в город, присойницкий жупан был впереди и приятно ему было думать, что осойницкий разбойник глотает за ним пыль. Когда же возвращались, первым выехал осойницкий жупан и ещё нарочно размахивал кнүтом, чтобы присойницкий разбойник получил полную меру

пыли. «Ругайся, — думал, он, — я тоже ругался!» Оба гнали лошадей, как пьяные извозчики.

— Подожди! — кричал сзади присойницкий жупан.

— Гони, — отвечал осойницкий жупан, и злобно смеялся, погоняя изо всех сил. Они не остановились ни перед корчмой, ни перед домом; гнали прямо к меже. Люди услышали топот, увидели пыльное облако, которое приближалось, колыхаясь, как парус, и воскликнули:

— Едут!

— Правда раскрылась! — воскликнул осойницкий жупан, запыхавшись, и спрыгнул с телеги.

— Нет ещё, не раскрылась! — закричал присойницкий и остановился.

— Говорите по очереди! — сказали сельчане.

Тогда заговорил осойницкий жупан:

— Есть ещё правда на свете! Этот разбойник, присойницкий жупан, извивался и притворялся, врал и вертелся, но закон сразу раскрыл его обман, и получаса не прошло, как было объявлено, что дармоеда отдадут ему, бог с ним.

Страшно рассердился присойницкий жупан:

— Этот контрабандист, что стоит по ту сторону межи и говорит, будто он осойницкий жупан, видно, не боится греха и лжёт богу в лицо! Ничего ещё не раскрыто, ничего не присуждено, пока не выскажется верховная власть, которую я призвал на помощь!

Всё так и было, как сказал присойницкий жупан: правда ещё раздумывала. Левым ухом слушала она осойницкого жупана, правым присойницкого и не склонялась ни направо, ни налево. Правда ведь такова, что любит пораздумать. Никто не должен спорить против этого раздумья, хотя бы ему и казалось, что ради этой правды че-

ловека утопили в чернилах и посадили на ржавое перо; пусть благодарит бога, что есть ещё правда на свете и что она помнит о нём, неблагодарном разбойнике.

Симон слушал речи жупанов, как во сне, не хотелось ему раскрывать усталые очи; он так привык к твёрдым камням, что не замечал боли, и голод его утих, только жажда обжигала губы. Слушал он слова о правде и дивился про себя: «Пожалуй, можно возгордиться, если посмотреть да подумать, сколько слов, времени и труда потратили на меня люди. Ради меня они забросили спешные дела, стоя пообедали, ужина не готовят, их дома и халупы раскрыты ворами. И оба жупана потеют с утра, чтобы узнать правду; поехали в город, там ходили от закона к закону, от власти к власти, учёные люди спорили между собой, тупились перья, рекой лились чернила, служители правды в поте лица своего нагромождали слово на слово. Симон, Симон, чем ты заслужил столько забот и когда сможешь отблагодарить за такую доброту!»

Пока Симон так раздумывал, жупаны продолжали пререкаться и пререкались бы до полночи, если бы не заговорил осойницкий сотский.

Тряхнул он за плечо Симона, Симон не шевельнулся и даже не застонал.

— Притворяется или действительно помер?

Присойницкий сотский потряс его за другое плечо:

— Жив ты или нет?

Подошли жупаны, оба сильно испуганные. Осойницкий стал на колени и нагнулся к Симону, чтобы посмотреть, дышит ли ещё дармоед, или нет.

— Дышит, сердце бьётся! — воскликнул он сердито.

— Притворяется. Ничего доброго у него нет на уме!

— Ещё удерёт, пожалуй, раньше, чем выяснится правда! — сказал присойницкий жупан. — Сотские, смотрите в оба, вам его поручили!

— Он говорит, что голоден!

Жупаны посмотрели друг на друга и не знали, что сказать, потому что правда для того существует на свете, чтобы судить человека, а не для того, чтобы его кормить и поить. Поэтому прежде всего жупаны рассердились на Симона, который просил у правды хлеба вместо слов.

— Это он нарочно, нам назло! Хочет запутать узел, который уже наполовину распутали! Вот разбойник, ни совести, ни чести!

Симон слегка приоткрыл один глаз и хотел что-то сказать, но язык его не слушался.

— Кто будет за ним ухаживать, кто будет его кормить и поить? — спросили жупаны. — Того гляди, этот дармоед нам назло помрёт раньше, чем откроется правда, а это было бы не по закону и грозило бы множеством неприятностей. Но какое дело этому разбойнику до закона!

Раскидывали умом и так и этак, но ничего не придумали. И опять нашёлся осойницкий сотский, который был хитрой бестией и никогда попусту не тратил слов.

— Соберём стариков с обеих сторон, пусть подумают и решат!

Так и сделали по совету сотского. Не бывало ещё на свете такого торжественного совещания, какое собралось в ту ночь.

Вечерняя заря уже потасла, звёзды сияли, свежий ветерок дул с гор. На меже собрались старики из Присойниц и Осойниц, чтобы рассудить и решить, кто должен напоить и накормить Симона.

Широким кругом расселись они на траве поодаль от Симона и сотских. Мрачно смотрели и долго молчали, сознавая, что наступил торжественный час и шуткам тут не место.

Жупан присойницкий начал:

— Если бы мы стали пререкаться о правде и законе, было бы похоже на то, что глухой читает проповедь глухому, и спорам не было бы конца. Поэтсму не о правде должны мы говорить, но о христианском милосердии и о любви к ближнему. Если человек увидит страждущего брата, что он сделает? — Отрежет ему ломоть хлеба и скажет: «Я не спрашиваю тебя, откуда ты, где твоя правда и какая она, а даю тебе хлеба, как учит писание». Так поступил бы добрый христианин. А ты как поступил, жупан осойницкий?

Осойницкий жупан возразил:

— Хорошая вещь христианское милосердие, а ещё лучше любовь к ближнему. Но теперь скажи, жупан присойницкий, кто отрёкся от них? Твоего страждущего брата пригнали в Присойницы. Ты не отрезал ему хлеба и не налил воды, но усталого, голодного и жаждущего погнал его в Осойницы. Хорошо ты рассказываешь про христианские добродетели, — ну и поступай, как они велят.

Старики внимательно слушали, но так как их мудрость была не выше жупанской мудрости, то они молчали. Минул час, — минул другой, тихая дремота легла на долину: небо стало темнее, а звёзды подымались всё выше и сияли всё ярче.

И вот в ночной тишине мудрость осенила Андреяца, мужа осойницкого, который никогда не тратил слов попусту.

— Дадим каждый половину, — сказал он, — Если ошибёмся, пострадаем одинаково, а если угадаем, будем одинаково рады.

Жупаны немедленно послали за хлебом и вином, один в Присойницы, другой в Осойницы. Посланцы не жалели ног, но прошёл добрый час, прежде чем они вернулись. Собравшиеся покорно ждали, подрёмывая, и кивали головами, довольные своей мудростью.

Дождавшись посланцев, они зажгли лучину, потом взвесили и отмерили как можно бережнее, чтобы ни одна из сторон не потеряла ни крохи правды, ни капли закона. В конце концов удалось и взвесить и вымерять два равных куска хлеба и две равные стопки вина. Жупаны возблагодарили бога, что всё так мирно и по-хорошему кончилось, и направились к Симону.

Первым возвысил свой голос присойницкий жупан и сказал:

— Мы, сельчане присойницкие и осойницкие, обсудили всё как следует и решили отплатить тебе за зло добром, как полагается христианам. Забрёл ты к нам бог весть откуда, двум приходам на горе, как бич божий. Лежишь ты здесь и даже спасибо не скажешь нам за нашу заботу и мудрость. Мы и не ждём твоей благодарности, потому что и без неё бог видит наши дела. Возьми же, ешь и пей и не уходи с этих камней, пока не откроется правда.

А потом осойницкий жупан, в свою очередь, предупредил Симона:

— Возьми то, что даём тебе от доброго сердца, ешь и пей и хорошенько обдумай наши слова! Ведь ты, может быть, разбойник и по ошибке к нам прислан. Мы тебя кормим и поим вместо того, чтобы гнать тебя туда, откуда пришёл. Это ты запомни, да смотри, не жалуйся и не лги, когда будешь отвечать за грехи свои перед богом!

Так говорили оба жупана, предлагая Симону хлеба и вина. Звёзды приветливо сияли, лёгкий

полночный ветер дул с гор; сотские лежали на траве и громко храпели: осойницкий лежал на спине, присойницкий на брюхе. Издалека доносился храп сельчан и шопот тёмных, высоких деревьев, трепетавших у края дороги.

Жупаны стояли и ждали, но ответа не было. Симон не двигался, лишь кротко улыбалось его лицо под звёздами.

VI

Великий грех против закона и правды совершил Симон. Злая мысль родилась в его сердце в тот самый час, когда сельчане совещались в кругу о христианском милосердии и о любви к ближнему. Чудны пути человеческой жизни: до последнего часа Симон не спорил, когда приходилось ему терпеть от правды, а терпеть приходилось нередко; не жаловался на голод и жажду, голод и жажда терзали его часто; не роптал, когда угнетала его тяжёлая рука власти, и не спрашивал, откуда эта власть и кто её поставил, а она угнетала его жестоко. Но вот в тот самый час, когда люди решили, что он достоин христианского милосердия и братской любви, взбунтовался Симон. Лежал он на камнях и не чувствовал их и знать не знал, где лежит и почему. Наполовину приоткрыв глаза, смотрел он в небо, которое ему помигивало тысячей светлых очей.

«Хорошо бы туда!» — подумал он сначала; но вдруг прояснилась его память, и вспомнил он, что лежит на камнях и что он бродяга. Но от этого он ничуть не опечалился, даже улыбнулся. Он вспомнил, что общинные мужи думают о нём и что правда этого мира трудится из-за него в поте лица.

«Пятьдесят лет жил ты, Симон, и никогда не

было, чтобы закон на тебя посмотрел иначе, как косо. Человек только помеха закону, потому что он не из бумаги. Но кто будет спорить с законом? Я отдавал ему то, что требовалось, и радовался, когда он брал не ворча. Теперь, смотрика, он вспомнил обо мне на старости лет, вспомнил в этот вечерний час; и как будто впервые меня увидел. Теперь я не смею ни пить, ни есть, пока он не скажет, откуда должны быть питьё и еда. Я не смею сдвинуться с этих камней, которым нет хозяина, а должен ждать, чтобы закон решил, где мне приютиться. Да ещё и запретил умирать, потому что закон ленив и не скоро найдёт для меня смертное ложе; а помереть раньше, чем его найдут, значило бы преступить закон. А что, Симон, если бы ты посмеялся над законом, как он смеялся над тобой?»

Так родилась в его сердце бунтарская мысль.

«...Если бы слушались ноги, я бы ушёл. Сладко дремлют сотские, ночь хороша, почему же не прогуляться немножко себе на радость, закону назло...»

Попробовал он привстать, опираясь на локти, но и руки уже не слушались его.

«Кажется, больше уж не гулять мне, — подумал Симон. — Прежде некогда было, теперь ноги не несут. Но если эта радость мне не дозволена, так выберем себе другую, наивысшую. Приготовься, Симон!»

И Симон, который никогда ни с кем не спорил, сложил руки и посмотрел на звёзды. Не без греха было его сердце, но оно было полно радости.

«Те, кого я обидел, пусть в этот час не поминуют меня лихом. И вы, кто меня обижали, хоть и много вас было, я не сержусь на вас. И на вас, собравшихся мудрецов, не гневаюсь, а прошу у

вас прощения за то зло, которое причиню вам теперь. Вы, сотские, верные сторожа мои, благословляю вас от всего сердца, пусть бог пошлёт вам сладкий сон, а мне христианскую кончину».

Взглянул он на звёзды, закрыл глаза и умер...

Оба жупана стояли и ждали ответа, да так и не дождались. Задрожали они с ног до головы, то ли от ночной прохлады, то ли от страха.

— Ты спишь, бродяга?

Симон молчал.

У жупанов упало сердце; и спросил присойницкий жупан дрожащим голосом ласково и любезно:

— Спишь, человек божий? Если спишь, проснись и скажи хоть слово, если же притворяешься, да простит тебе бог.

Симон молчал.

— Зажги лучину, — посоветовал осойницкий жупан, — посмотрим ему в лицо.

Присойницкий жупан зажёл лучину. Трепетное пламя озарило камни.

— Спит он или притворяется?

— Возьми его за руку, встряхни за плечо!

— Сам возьми да встряхни!

Осойницкий нагнулся над Симоном, потрогал осторожно его руки, сложенные на груди: руки были твёрдые и холодные. Быстро отскочил жупан, холод проник ему до самого сердца.

Оба жупана повернулись к спящим сторожам, и оба вскричали сразу и таким лютым голосом, что сотские вскочили в испуге:

— Контрабандисты, разбойники! Мы вас посадили сторожить этого дармоеда, а вы храпите, и горя вам мало!

Заспанные контрабандисты удивлённо посмотрели на жупанов и на Симона, потом проясни-

лось у них в голове, и они сообразили, где они и почему.

— Ведь не удрал же он, вот он лежит! — сказал смиренно присойницкий сотский.

— Не удрал, — сердито возразил ему жупан. — Если бы удрал, я бы тебя кнутом погнал ловить. Там лежит тело, а где душа, спрашиваю я вас?

Осойницкий сотский, который был умнее, ответил тоже сердито:

— Нам было поручено тело, вот оно и лежит, где лежало. Душа же не в нашей власти и не в вашей, жупан, а в божьей.

Что можно было возразить на это? Злость жупанов перешла на Симона.

— Лежит себе да ещё смеётся, как ни в чём не бывало! Пришёл незванный, принёс с собой столько забот и горя, что не оберёшься. И вместо того чтобы стать на колени да сказать спасибо за наше добро, он взял да и умер назло нам и теперь смеётся над нами.

Даже сотские рассердились, глядя на тихого, улыбающегося Симона. И осойницкий сотский сказал:

— Легко задержать тело, но кто может запереть душу? Ведь её не видно! Этот разбойник закрыл глаза и смеётся, а душа исчезла потихоньку, как вор из тюрьмы. Знал я, что он задумал что-то недоброе, но что именно, это мне было невдомёк.

Жупан присойницкий бросил догорающую лучину, потому что она обожгла ему пальцы. Поздняя ночь дышала им в лицо — звёзды засияли ещё ярче, зоркими очами глядя на землю. Камни, ложе Симона, были словно выбелены известью.

— Всё-таки надо проверить, верно ли, что он умер. Если руки холодные, это ещё не значит, что душа не прячется под кожей.

Посмотрели друг на друга все четверо, и у всех четырёх кошки скребли на сердце. Наконец заговорил осойницкий сотский:

— Если несёт крест один, то надаёт под ним, если несут его двое, охают; если несут его четверо, потеют; но если двадцать человек несут, то не чувствуют тяжести. Наделал нам хлопот этот разбойник, отправившись, не спросясь, на тот свет. Созовём же общинных мужей, которые храпят в траве, и подумаем, как нам быть. Всё-таки легче нести этот крест двум общинам, чем двум жупанам.

Все четверо почувствовали мудрость этих слов и направились к сельчанам, спавшим в траве.

Возвысил голос присойницкий жупан и сказал:

— Просыпайтесь, вставайте, люди добрые, и выслушайте меня. Сладко спали вы, а пока спали праведные, разбойник бодрствовал. Пришла новая беда, хуже наводнения и неурожая. Знаете, что сделал этот разбойник? Вместо того чтобы потерпеть, пока не рассудит нас с ним закон, он взял да и помер нам назло. Проснитесь, люди добрые, подумаем, как нам избыть эту новую беду!

Хорошо говорил присойницкий жупан, но люди добрые даже и не пошевелинулись, а захрапели ещё громче. Осойницкий жупан сильно рассердился на такое упорство. Оба сотских, заспанные и недовольные, тоже сердились, наполовину из-за правды, наполовину из зависти к спавшим. Все четверо будили сельчан, звали и уговаривали их, но в ответ слышали только бормотанье и ругань.

Видя такое упорство неправедных, праведники и сами устали. Нашла на них сладкая истома, которая находит на человека после сделанной на совесть работы. Ночь, ясная и праздничная, на-

вевала сон на глаза и душу. Вся долина от холма до гор погрузилась в сон. Вдруг закричала, бог знает откуда взявшаяся, сова печальным, пронзительным голосом.

— Не к добру! — испуганно шепнул присойницкий жупан.

— Помилуй нас бог! — ответил осойницкий и перекрестился.

— Отдохнём и мы; утро вечера мудренее.

Улеглись на траву и заснули под ясным небом, тяжело вздыхая во сне. И как только они уснули, поднялся месяц из-за холма и осветил белые камни, заблестевшие в ночи.

VII

Погожее утро встало над Присойницами, и засияли все присойницкие холмы в его ярком свете. По долине поползли тени, и роса поднялась паром. Полегоньку, не спеша, переходило солнце и на осойницкую сторону. Как белая простыня, протянулся туман под горой.

Праведники спали крепким сном. Роса омочила их лица, но усталость камнем легла на грудь, связала руки и ноги крепкой верёвкой.

Первым потянулся сотский осойницкий. Ещё не открывая глаз, зевнул он широко и приказал:

— Не вари мне сегодня кофе, а дай стопку сливянки да добрый кусок сала!

Так как на это приказание не последовало никакого ответа, сотский раскрыл глаза и посмотрел кругом. Поднялся он на ноги и посмотрел на спящих праведников, которые лежали на траве, как мёртвые на поле битвы.

«Здорово, — подумал он, — сладко же они спят, и снится им, будто убрали они богатый урожай. Гляди-ка, наш жупан разинул рот, зажму-

рился и точно подмигивает. Присойницкий свернулся клубком, словно ёж, даже нос еле виден из-под рукава, а в зубах держит трубку, жаль, что не сгорел. Мирно они почивают, и всё-таки греха на них больше, чем на всех прочих. Ну-ка, посмотри теперь на бедного бродягу, на месте ли его кости», — заключил свои размышления осойницкий сотский и направился к Симону.

Не доходя трёх шагов, остановился, потому что колена его ослабли и ноги больше не слушались. Сотского обдало холодом, и сердце у него упало:

«Лежал он раньше на правом боку, а теперь лежит на левом... Руки были сложены на груди, а теперь на животе... и глаза его были закрыты, а теперь правый наполовину открыт и смотрит, совсем белый. Во имя всех святых, не думает ли он и после смерти притворяться и лишать покоя честных христиан».

Сотский не осмеливался подойти поближе, чтобы хорошенько разглядеть бродягу: ноги у него были точно скованы. С трудом передвигая их, он вернулся к спящим. Окликнул лентяев едва слышным, сдавленным голосом:

— Вставайте, неверные, спящие во грехах!

Проснулись оба жупана, проснулся присойницкий сотский, мало-помалу просыпались и сельчане. Все уставились на осойницкого сотского, который стоял перед ними бледный, как привидение. Глаза у них проснулись, а разум просыпался медленно и с трудом. Смотрели они друг на друга, раздумывали, стыдливо молчали. Наконец озарило их, словно солнцем из-за горы, и потихоньку закрался к ним в сердце тёмный страх.

— Вставайте, скажите, как нам быть! Если есть хоть капля мудрости в ваших головах, покажите её! Вчера ночью мы словно ослепли. Не-

чистый, который нам был послан под видом бродяги, скитался по долине в то время, как мы спали... Бог знает, не налил он кому-нибудь из вас яду в открытые рты; у тебя жупан рот был настежь раскрыт.

Осойницкого жупана проняла дрожь, точно змея проползла по спине. А сотский безжалостно продолжал:

— Раньше бродяга лежал на правом боку, лицом к Присойницам; теперь лежит на левом и смотрит белым глазом в Осойницы. Видно, ночью он колобродил, а потом позабыл, как он лежал. Может, вчера ночью он сидел среди нас, когда мы судили его и его душу. Чего доброго, может, бродяга вовсе и не бродяга, и Симон не Симон, а бог знает кто, и бог знает кем он послан нам в наказание.

Так сказал сотский. Все повесили головы, ни у кого не шло слово с языка.

— Пойдём посмотрим, что там; не соврал ли нам этот хитрец, — сказал присойницкий сотский. Осойницкий окинул его сердитым взглядом:

— Что ж, идём. Ты сам и веди нас!

Всё сборище направилось к белым камням. Впереди шёл присойницкий сотский. Ноги его тряслись, и он поглядывал направо и налево, будто не знал дороги. И сельчанам, видно, тоже не хотелось спешить; они то и дело останавливались, но удрать было некуда; поля тянулись и по эту и по ту сторону дороги и нигде не было ни кустика, а издали уже светлели белые камни, и глаза различали тёмную, длинную тень на них.

— Вон он лежит! — сказал присойницкий сотский и протянул правую руку.

— Это верно, что лежит, — подтвердил осойницкий сотский. — Мы все его видим, по-

тому что глаза есть у каждого. Ты сказал, что поведёшь нас, ну и веди!

Чем ближе подходили они к камням, тем сильнее заплетались у них ноги, а всего и пути было не больше, чем на пролёт камня.

Не доходя десяти шагов до камней, все остановились. Один прятался за другого, все смотрели испуганно: смотрели и боялись что-нибудь увидеть.

Присойницкий жупан подтолкнул своего сотского:

— Надо было ночью смотреть, а не днём. Ступай да помни, что ты — сотский!

И оба сотские храбро шагнули к камням.

— Не шевелится!

— Застыл, и холодом несёт от него.

— Вчера ночью он не так лежал.

— Не так он лежал и не так смотрел; и смеётся злобно, не так, как вчера.

— Руки были сложены, как на молитву.

— А вселился в него бес, так он и молитву забыл.

— Есть душа в нём или нет?

Так рассуждали сотские, а сельчане слушали и ждали.

— Бери его! — приказал осойницкий жупан.

— Встряхни его! — подтвердил присойницкий.

Вся кровь в них оледенела, словно от зимней стужи, когда схватили и встряхнули они лежавшего на камнях Симона.

— Нет в нём души, помилуй бог его и нас.

Тогда и все остальные подошли к камням.

— Тебе приснилось, сотский осойницкий, — засмеялся Андреец. — По глазам и губам видно, что этот человек испустил дух уже давно и не бродил он по долине. Верно, ты сам бродил, сотский.

Сотский сердито ответил:

— Возьми его за плечо, умная голова, поверни немного и увидишь, что он засмеётся тебе в лицо.

Андреец не ответил. Все молчали.

Во всех сердцах было малодушие; первым преодолел его осойницкий жупан.

— Что толку стоять и глядеть друг на друга. Коли он умер, наше горе не оживит его, похороним его тело, а беспутную душу пускай судит бог!

— А не лучше ли, чтобы осмотрели его и признали мёртвым? — спросил осторожный присойницкий жупан. — Эти два труса могут наврать спяна, что угодно! Хоронить его как некрещёного зверя большой грех; особенно если была в нём хоть какая-нибудь душа. Всё-таки это человек, и власти из-за него наделают нам много хлопот.

— Ступай за стражником, да поскорей, — приказал осойницкий жупан своему сотскому.

— И ты отправляйся, да держись подальше от кабака! — приказал присойницкий своему.

Прошёл добрый час, прежде чем вернулись сотские, и оба принесли одну и ту же весть.

— Пришли мы к стражнику, а он лежит в постели пьяный. Я ему объяснил, что и как, а он нас прогнал: «Закопайте его там, где лежит, бродягам и попрошайкам лучше под землёй, чем на земле, всё равно, живые они или мёртвые». Так он сказал и опять взялся за чарку! — доложил один из посланных.

— Неплохо рассудил, хоть и пьяный, — подтвердил другой.

Но тут опять не во-время впутался Андреец:

— Может, всё-таки душа ещё держится у него в теле? Не послать ли за лекарем?

— Ещё скажешь — за императором и папой? — возразил другой сотский.

Осойницкий жупан обратился к тем, кто стоял поближе, и сказал:

— Теперь нам надо разрешить один вопрос: кому хоронить бродягу и где его хоронить?

— Там, где лежит он, там пусть и заруют его тело... А хоронить его должны те, на чьей земле он лежит. Похоронить же его надо по-христиански, ибо хотя он и был беспутный бродяга, но душу имел.

Тут осойницкий жупан громко закричал:

— Разбойник! Я с самого начала понял, что ты лицемер и по злобе своей подсунул бродягу мне через межу, чтобы я его кормил, и поил, и хоронил, да ещё и панихиду по нём отслужил. Однако на этот раз ты промахнулся; пусть лежит он там, где лёг, хоть до скончания мира, и хотя бы начальство прислало сюда всех сотских, я скажу: пусть его хоронит та община, которая его крестила.

— А какая община его крестила? — ехидно осведомился присойницкий жупан.

— Присойницкая община крестила его, так написано в бумаге!

— Начальство ещё ничего не сказало насчёт той бумаги. Колыбель же его стояла на тех вот камнях, на осойницких.

— Если начальство ещё не сказало своего последнего слова, то пусть, во имя бога, и лежит он здесь, покуда не откроется правда.— Так ответил осойницкий жупан и, обратившись к своим односельчанам, сказал:

— Сельчане осойницкие, мы кончили это дело! Не будем больше пререкаться с этими грабителями, идёмте спокойно домой. Ты же, сотский, оставайся здесь и стереги, чтобы не унесли этого

бродягу и не закопали его труп на нашей земле.

И присойницкий жупан приказал своим односельчанам и своему сотскому:

— Довольно насмотрелись мы на этих безбожников. Жаль всех тех слов, что мы потратили на них даром. Совесть наша чиста; пойдём же и будем спокойно ждать, что скажет начальство. Ты, сотский, стой на страже, чтобы они не перетасили бродягу на нашу сторону.

Так, даже после смерти Симон был причиной ссоры, хотя сам он лежал смиренно и лицо его сияло спокойной улыбкой в утреннем свете.

VIII

Весть о неожиданной кончине Симона Сиротника обошла оба прихода.

Уже спустились сумерки и на Присойницы и на Осойницы, долина погрузилась во мрак, и лишь на вершинах холмов задержались последние лучи света, когда с двух сторон направились к меже сельчане обоих приходов.

Сладко спали оба сотские по обе стороны от груды камней: присойницкий на спине, осойницкий же лицом вниз; камни же были пусты, и бродяги на них не было.

Никто не осмеливался подойти поближе. Жупаны же громко зывали:

— Вставай, Андреец!

— Мартинец, вставай!

Сотские проснулись, глянули раз, глянули другой, вскочили и бросились бежать, каждый в свою сторону.

— Ты ничего не видал, ничего не слышал?

— Ничего... — трясаясь всем телом, отвечал Андреец. То же отвечал и Мартинец и также трясся.

Присутствовавшие перекрестились, и все, сколько их ни было, пустились бежать от страшного места, и никто не оглянулся назад.

Это ещё не конец повести.

Через неделю отправился присойницкий жупан в город на исповедь; а после исповеди он выпил и закусил изрядно и поехал домой весёлый, потому что совесть его была чиста и сердце спокойно.

Когда он подъехал к долине, была уже поздняя ночь, и он собирался было вздремнуть, как вдруг кто-то хлопнул его по плечу.

Дрожь проняла жупана, и зубы его застучали.

Трясаясь и не глядя по сторонам, гнал жупан коня так, что бричка то и дело задевала за придорожные столбы.

А тот, кто подсел к нему, говорил ласково:

— Видишь, какой я добрый; чтобы тело моё не пеклось на солнце, я сам поднял его на плечи, снёс и похоронил. Но разве мне легче оттого, что тело успокоилось, если душа не находит покоя? Ведь мне всё ещё приходится ждать, пока начальство скажет своё слово о моих правах. А ждать надо долго, ибо власть берёт скоро, а даёт медленно. Вот мы и дома. До свидания, может, ещё встретимся!

Соскочив с брички, жупан первым делом опорожнил с испуга целую бутылку водки и завалился спать.

Не прошло и недели после этого, как осойницкий жупан, крепко выпив, плутал по долине, и как только добрался до межи у тех самых белых камней, светившихся ночью, кто-то приветливо хлопнул его по плечу:

— Давно я тебя не видал, жупан, и очень рад,

что мы встретились. Дай, провожу тебя немного...

Когда осойницкий жупан добрался в эту ночь домой, он был весь мокрый, словно только что из бани.

Никто больше не осмеливался ходить мимо белых камней, но хотя все далеко обходили их, оттуда явственно слышался голос: «Пусть придёт правда, пусть придёт правда, пусть придёт правда!»

А девять лет спустя пришла от высшей власти бумага, где было решено, что кормить Симона Сиротника должна присойницкая община. Но никто уже не мог объяснить, что значит это письмо и что с ним надо делать, так как оба жупана были уже в могиле.

КУРЕНТ

(Древний сказ)

I

Все знают, как это началось: Курент был таким бедняком, что даже в стране бедняков не находилось ему равного.

Зачат он был в день веселья и вина, родился же в печали и тяжёлых бедах. Увидела его мать сморщенного, никудышного и заплакала.

— Не жилец он у тебя! — говорили соседки.

— Не дай бог такого несчастья! — вздохнула мать.

Сморщенное, никудышное дитя, однако, жило, и окрестили его Курентом.

Как только начал Курент ходить, стало яс-

но, что не годится он ни на что на свете. Вместо того чтобы ползать на четвереньках по грязи или барахтаться в пыли, как все крещёные дети, сидел он за печкой и сосал свой палец, покуда ему палец не обвязали тряпкой. Рос он очень медленно и ничего почти не ел. Только волосы так быстро росли на его головёнке, что матери пришлось связать их пучком на макушке, а так как одет он был в одну рубашонку, то и был похож на девочку.

— Не иначе, как быть ему попсом! — решили соседки. И мать в сердце своём радовалась такому предсказанию.

Когда ему пошёл двенадцатый год, мать спросила Курента, кем он хочет быть, священником или епископом.

Курент долго думал, потом сказал:

— Кесарем!

Мать оттрепала его за вихры и пошла жаловаться на сына соседям и родичам. Родичи жалели её и давали, кто пару червонцев, кто кусок полотна на рубашку, кто хороший совет.

Осенью посадили Курента в телегу, мать заплакала и перекрестила его, а отец выдрал его за уши, потому что мальчишка в новых башмаках залез в лужу. Старшему батраку Андреецу был дан крепкий наказ: не выпивать в придорожных корчмах, а честно выгрузить Курента у бобылки-тётки, которая перебралась в город, потому что там было больше церквей и исповедников, чем в селе.

Андреец всё сделал, как ему было велено: ссадил Курента у тётки-бобылки, а потом пошёл в корчму и напился: выпил тут же в городе, чтобы не выпивать в дороге. Когда он в сумерки вернулся домой, Курент уже был там раньше него. Андреец выпряг коня и поставил

его в конюшню, а отец расправился с Курентом берёзовым прутом. По двору гулял петух и щурился на солнце, которое одним глазом выглядывало из-за гор.

— Если не годишься в попы, будешь пастухом! — решила мать.

Но и пастуха не вышло из Курента. Вместо того чтобы заботиться о стаде, лежал он на траве и смотрел в небо. Чем дольше он смотрел, тем больше казалось ему, что небо прекрасный божий плащ, вечно колеблющийся и движущийся, один бог знает куда! Смотрел, пока не сморил его сон, и снилось ему, что лежит он не на земле, а на этом самом божьем плаще и смотрит оттуда вниз на пастбище, на коров своего отца и соседей, которые идут на клеверное поле. А когда он проснулся, коровы действительно оказались в клевере.

Когда Курент вернулся домой без коров, которые разбежались по кустам, отец, как полагается, отдубасил его сначала, а потом сказал:

— Курент, Курент! Беда мне с тобою, в попы ты не годишься, в пастухи тоже; не работник ты! За божью милость, что ли, должен я тебя кормить? Скажи сам, кем бы ты хотел быть?

Курент долго думал, потом ответил:

— Папой.

Отгаскал его отец за волосы и вздохнул:

— За какие грехи ушиб меня бог этой дубиной?

С тех пор рос Курент, как растёт крапива у забора. Никто не смотрел за ним, и он ни к кому не тянулся. По целым дням его не было дома, и ни мать, ни отец не спрашивали: где же наш Курент? А когда он появлялся оборванный, босой, без шапки, никто ему не гово-

рил: «Сядь, Курент, миска твоя на столе и ложка тоже». Никто не приглашал его к столу. Ел он в сенях, как странник из чужих краёв, а поужинав, шёл, куда ветер веет.

Курент избегал людей, любил уединение, любил смотреть, как течёт река по долине в тени серебристых ив; долго и внимательно слушал её лепет, так что подконец казалось ему, что понимает он его, как человеческую речь. Прислушивался, как шумит трава под ветром, а тихую песнь полей различал между всеми песнями земли.

Прошёл он большие леса и выслушал их мрачные ночные сказки. Музыка лесов была громче органа, на котором играл глухой органист.

Так скитался Курент без пути, без дома и без дела, себе на стыд, людям на помеху и поношение. Встретит его крестьянин, посмотрит и сплюнет:

— Тьфу! Гуляет парень без дела, станет мужчиной, воровать начнёт, а на старости лет пойдёт побираться.

Но Курент не слушал такие речи, насвистывал себе и был весел. Не только отец, но все батраки и пастухи тоже косились на Курента. Женщины даже и смотреть не хотели на него, — такой он был грязный, нечёсанный и в лохмотьях.

Случилось как-то, что проходили мимо села богомольцы, возвращавшиеся с какого-то большого праздника. Длинной вереницей шли они попарно, или вчетвером, или поодиночке, чинно и медленно спускаясь по белой дороге к селу, которое стояло в низине, в тени. Все они были празднично одеты, и солнце освещало их. Ку-

рент сошёл с дороги, чтобы не столкнуться с людьми. Перепрыгнул через канаву в поле и встал неподвижно, точно корни пустил: загляделся и рот раскрыл. Показалось ему, будто он спал долго, целый год; проснулся теперь и видит новых людей и новые места. Шла по дороге прекрасная девушка; ярко блестели на солнце её глаза, губы, щёки, алый платок на шее, разноцветная юбка и даже белый платочек, что держала она в руке. Ярче же всего сияли её прекрасные глаза. Понял тогда Курент, что в них, в этих глазах — жизнь, равной которой не найти на всём божьем свете. Уже далеко прошли богомольцы, даже самые набожные крестьянки, которые после богослужения обычно обходят с молитвой все боковые приделы, и те уже прошли мелкими шажками мимо Курента и перекрестились, завидев его, а он всё ещё стоял, точно приросший к земле, пока солнце не скрылось за горой. Когда тени горных склонов погасили последние лучи в долине, Курент тихо, как пономарь с пасхальной свечой, пошёл к лесу, который стал его домом. Он с утра ещё не ел и не пил, но не чувствовал ни голода, ни жажды. На опушке леса лёг он в траву и стал глядеть в небо, которое, чем дальше он смотрел, становилось всё выше, всё светлее. Человеческий глаз не увидел бы ещё ни одной звезды, но Курент уже видел их бесконечное множество.

В лесу шумело, тёплый ветер веял над долиной. И как пело всё в небе, в лесу, в поле, так пело и в его сердце. «Губы твои алы, как платок на твоей шее, как мак, гнущийся в поле, как гвоздика на твоём подоконнике. Быстрые очи твои, — как вымытое небо, когда отражается в нём светлая роса полей; глубоки они, точ-

но озеро в заколдованном Граде¹. Божий покров подымается в них, и звёзды тихо спускаются к лесу. Посмотрит в них человек, и услышит песню, которую слышал он тогда, когда ему снилось, что избавлен он от всех грехов и вместе с ангелами воспеваает божью мать. Щёки твои прекраснее розы, благоухающей в саду. Легки твои ноги, когда ступаешь ты, шаги твои бесшумнее тени лесной. Увы мне! Радостны очи твои, но печально сердце моё и пусто, как поле в засуху. Горе мне! Тих и лёгок шаг твой, и идёшь ты к солнцу, моя же поступь тяжела и стремится к одиночеству. Горе мне! Никогда зима не овладевала летом, ночь — днём, никогда грешник не увидит рая!»

Так пел и тосковал Курент. Когда же наступила ночь, пошёл он в село.

Перед своей халупой сидел старый Ерней и играл на гармонии. Курент послушал, потом подошёл к Ернею и сказал:

— Дай мне попробовать!

— Если только не удерёшь с нею, разбейник!

— Не удеру.

Едва почувствовала гармония руки Курента, она запела так, как никогда ещё не певала.

— Как ты играешь! — воскликнул Ерней. — Такой печальной песни я ещё ни разу не слышал. Ты играешь для могильщиков, а не для сватов.

— Гармония не похожа на язык человека: она не умеет лицемерить; песня — не слово, она не соврёт, — сказал Курент. Он пошёл дальше и вошёл в дом своего отца.

¹ У словенцев есть легенды, напоминающие русское сказание о граде Китеже.

— Отец, у нас в доме есть гармония. Дай мне её в наследство, как мою долю.

Отец засмеялся:

— Бери себе гармошку: бог благослови тебя и её. Не вышел из тебя ни поп, ни пастух, ни даже просто работник. И музыканта не выйдет из тебя.

Курент забрал гармонику и пошёл своей дорогой. Шёл и смотрел на дома, засматривал в окна. Глаза его, привыкшие к лесу, видели и ночью, как днём. Скоро рассмотрел он за забором в саду окошечко, а с окошка свисали чуть не до земли густые гвоздики. Только увидел он это окошечко, как знал уже, что она живёт там, потому что сердце его наполнилось любовью и печалью: такое уж было у него всезнающее сердце, что находило дорогу без проводника и видело цель свою слепым глазом. Остановился Курент и голову повесил. Стоял он под забором, как грешник пред вратами рая.

«Недостойн я даже «прощай» сказать тебе, не заслужил даже и того, чтобы гвоздики твои посмотрели на меня!» Так в сердце своём подумал Курент, а так как издавна ведётся, что песня рождается от любви и мечты, то Курент и ещё подумал в сердце своём:

«Недостойн я даже стоять под окном твоим, не то чтобы помыслить о прелестях твоих, которые достанутся тому, кто приобретёт твою благосклонность. Но если грешник недостойн войти в рай, ему не запрещено смотреть на райские двери; и если не дано мне стоять пред тобою и глядеть на твоё ясное лицо, то никто не сможет мне запретить петь хвалу в твою честь и возглашать о тебе всему широкому миру. Кто знает, не услышишь ли ты, стоя у окна, мою далёкую песнь, и, быть может, я буду тог-

да удостоен твоего привета и доброй мысли обо мне».

Так попрощался Курент с забором, с окном и гвоздиками и пошёл бродить по белу свету.

Отцовское слово не говорится зря. «И музыканта из тебя не выйдет», — сказал отец, и действительно, не годился Курент в музыканты.

Странствовал он и там и здесь: ходил с одной свадьбы на другую, с одних поминок на другие, от одного престольного праздника к другому, и повсюду оставался бедняком.

— Кому захочется плясать, когда играет Курент? — говорили слушатели. — Расплакаться может человек от его игры: засуху и наводнение он нам играет, печаль и смерть!

Колотили его и выгоняли на улицу. Огорчались Курент.

«Из сердца подымается мечта моя в руки, из рук переходит в гармонику, из гармоники идёт к людям, но что им до моей мечты, когда они полны веселья!»

Так и шёл он печальный своей печальной дорогой, пока, сам не зная как, добрался до сватов, у которых не было музыкантов.

— Поиграй нам, Курент! — сказал жених.

Курент посмотрел и узнал и жениха и невесту. Стал он пред сватами, как крест перед процессией, растянул гармонь и, как только заиграл, заплясали сваты. Никогда ещё ухо не слышало такой музыки, опьяняла она, как крепкое вино. Три ночи пили и плясали сваты, три дня спали. На третью ночь сказал Курент:

— Хотелось бы мне сплясать с невестой!

Посмотрели все на него и засмеялись так, что стёкла в окнах задрезбужали. Смеялась и невеста, да так, что слёзы катились по её румяным щекам.

— Ну что же, потанцуй с ним! — сказал жених и от смеха и вина свалился под стол.

Курент сунул гармонь за пазуху, слез с лежанки, где сидел, и вышел на середину. И тут он увидел, что бос он, что изорванные штаны его еле прикрывают ему колени, что подпоясан он найденной где-то верёвкой, вместо пояса, и что холщёвая рубаха его была стирана им самим и высушена солнцем ещё на прошлой неделе. Молод он был, почти ребёнок, бледен и смущён.

— Пусть танцует Курент, пусть танцует с невестой! — кричали весёлые сваты.

Но Курент, пристыжённый и испуганный, убежал через открытые двери на село и за село. И сердце его не пело больше, а обливалось слезами. Пошёл он в лес, потому что там был его настоящий дом. В лес, где под крышей-небом была уготовлена ему постель из папоротников, где чёрный дуб был ему братом, а белая берёзка сестрой. Вот и направился он к своему дому, чтобы лечь на свою постель под родной крышей и умереть среди своих братьев и сестёр. Подходил он уже к лесу, как вдруг расступился перед ним лес и показалась широкая прогалина. Тёмные дубы по краям её, но не ложилось от них никакой тени на прогалину: залита она была таким ярким светом луны, что каждая былинка на ней была видна, как днём. На большом суку сидел горбатый карлик, в зелёной куртке, петушиных штанах, красной шапке и шёлковых туфлях. Ни дать, ни взять чорт!

В руке он держал открытую табакерку, нюхал из неё, чихал и подмигивал Куренту:

— Как поживаешь, Курент? Что делается на белом свете?

— Лучше б ничего не делалось! — вздохнул Курент.

— В чём же дело? Если тебе не послана постель, постели сам! — посоветовал горбатый безбожник.

— Сроду стелил себе сам, вот и смертную постель приходится стелить самому!

Горбун снова чихнул, весело подмигнул Куренту и сказал:

— Ты ведь знаешь древний обычай: скажи слово, и будет под тобой перинка.

Курент лёг в траву, под яркий свет месяца, и печально вздохнул:

— Что мне тот древний обычай! Душа моя не стоит и вылущенного зерна; помехой она будет тебе, как и мне. Если снести её на базар, то и горсти заплесневших орехов не дадут за неё.

Но безбожный горбун хитро возразил:

— Если бы это было так, как бы легко я мог тебя обмануть. За горсть орехов получил бы серебряный талер, а то и червонец. Но есть ещё справедливость и честность в нашем кругу. Что не годится одному, может пригодиться другому: какой-то крестьянин бросил верёвку, а ты вот подобрал, и она тебе вместо пояса. Недавно я заторговал себе душу, такую чёрную, что, казалось, никакая божья прачка не отстирала бы её, и всё же я не промахнулся.

Чудным казалось всё это Куренту. Подумал он и сказал сам себе:

«Пришёл я сюда приготовить себе последнюю постель. Близок мой печальный час, чего же мне торговаться с этим безбожником? Кто знает, быть может, я когда-нибудь, сам этого не зная, заслужил что-нибудь у бога, зачем терять мне эту заслугу и отказываться от хорошей цены?»

А безбожник утвердительно кивнул головой:
— Умно думаешь, Курент! Если приходит к тебе обманщик и говорит: «Дай мне твои сапоги, они негодны даже для мусорщика», ты не верь ему, а скажи: «Если они не годятся даже для мусорщика, то зачем они тебе? Товар, хорош он или плох, цену свою имеет: ты скажи твою цену, а я скажу свою».

Курент подпёр голову обеими руками и задумался.

— Ты ведь знаешь: не умею я торговаться. И цену мне тоже знаешь: заплати её и бери себе, что полагается. С тех пор, как я открыл глаза, не пришлось мне увидеть ни одного весёлого лица: начал ходить, начали колотить меня. Пришла в моё сердце любовь, засмеяли меня, наплевали мне в сердце. Сделай же так, чтобы людям становилось весело, как только я появлюсь среди них. Сделай также, чтобы целовал я когда-нибудь те губы, единственные, о которых я думаю.

Горбун приятно улыбнулся.

— Я знаю тебе цену, Курент. Твоя цена — честная цена, достойная товара! Возьми эту скрипку, Курент, и ничего не бойся. Скрипка старая и потёрта она, много рук её нянчило, бесчисленное количество людей, хороводы племён тянулись к ней. Когда твоя рука обнимет её и заходит смычок по струнам, опьянеют все сердца и засветятся все глаза. Полюбят тебя люди и будут угощать, а уйдёшь, плакать будут по тебе. А те губы, алые губы, сами будут тянуться к тебе. И не надо тебе будет лезть на яблони за плодами, сама ветка нагнётся к тебе, сорвать яблоко, когда захочешь. Тот, кто услышит твою песню, будет петь и плясать и забудет все свои горести. Радость будет идти перед тобой,

а позади себя будешь оставлять мечту. Такова плата за плату, рай за рай.

Когда услышал Курент эти слова, почудилось ему, что видит он в лунном сиянии светлые очи и алые губы и даже платочек на шее.

— Дай скрипку! — сказал он.

Договор тут же был написан, подписан и скреплён печатью. Горбатый нечистый исчез в лесу неслышно, как гаснет светлячок в траве. Курент же лежал, смотрел в небо и даже не думал о том, что только что продал чорту свою душу за скрипку. Ни один лист не шелохнулся, не было даже того лёгкого ветерка, который ночью тайком играет с молодыми верхушками леса. Так тихо, что, казалось, слышно было, как шептались звёзды где-то там, высоко, за лунным сиянием, скрывавшим их. Неподвижно стояли вокруг поляны огромные тёмные дубы будто молчаливые стражи вокруг присуждённого к смерти грешника.

Сладко замирало сердце Курента. Задремал он, и приснилось ему, что из-за холма поднялась огромная тень, ноги которой двигались по земле, голова же упиралась в небо. Так двигалась тень по земле из долины в долину, одним шагом переходя холмы, которые рассыпались под её ногами, как кучки земли, вырытые кротом. Перед нею и за нею тянулись вереницы чёрных спешащих муравьёв; иногда тень наступала на них и давила, так что сапоги её до самых голенищ были покрыты кровью, образовавшей вместе с пылью такую толстую корку, что даже во сне Курент различал её.

«Зачем они лезут за ней, зачем теснятся у её ног? — удивлялся он.

Но вереницы муравьёв всё лезли и кружились возле тени, переваливали с ней за холмы

и гибли под её ногами: из долины в долину тянулись за ней, пока сама тень не угасла по ту сторону лунного света.

Так началась и так закончилась молодость Курента.

II

Проснулся Курент, посмотрел вокруг и увидел, что мир прекрасен и что стоит жить. Сколько богатств насыпал бог на эту землю! Бесчисленное количество людей род за родом жило на ней и наслаждалось и не могло прожить этих богатств; их становилось всё больше и больше.

По небу странствует солнце, как странствовало оно от века, и светит всем по очереди. Под ним бегут облака, чтобы орошать страну от востока до запада: завернут и на юг и на север, когда вспомнят о полосе бедняка. Земля, неутомная мать, рождает и рождает: семьдесят раз семь хоронила она своих сыновей, но внуки сосут её грудь. Необозримые поля приветливо склоняются под ветром: леса, как тёмные сторожа, смотрят на них сверху, как смотрит муж на жену, которая доит корову. Люди, весёлые сваты, для всех вас накрыт стол, никого не гонят за порог и даже у музыканта есть своё место.

Огромная радость была в сердце Курента, когда он спускался в долину. Чувствовал он себя сильным и уверенным, как никогда. Не помнил он больше, ни где он родился, ни кто были его отец и мать. Забыл он все горести и даже не мог вспомнить, откуда у него в руках скрипка. Из прошлой, забытой жизни осталось у него в памяти только одно лицо, которое он будто видел где-то давным-давно или приснилось оно ему когда-то. И когда припомнил его Курент

хорошенько, то сказал себе, что никогда и нигде не увидит он таких алых губ, таких светлых очей, даже если бы прошёл тридевять земель.

Вышел Курент из плесу, глянул на росную долину перед собой, и ещё теплее, ещё радостнее стало у него на сердце.

Видел он цветущую землю, утопавшую в солнечных лучах, но глазами сердца видел всю родину от равнин Штирии и до моря.

— О родина моя, когда бог сотворил тебя, благословил он тебя обеими руками и сказал: «Здесь будут жить весёлые люди». Скупом отмерял он красоту, когда сыпал её по земле, прошёл он мимо сильных, и подконец остались у него полные руки красоты, и рассыпал он её на все четыре стороны от Штирийских гор до крутого Триестского берега, от Триглава до Горян, и сказал: «Весёлые люди будут здесь жить: песней будет их язык».

Как сказал, так и случилось. Говорят, что есть языки богаче и звучнее и более пригодны они для ежедневного употребления, но словенское слово — это слово праздника и пения. Из самой земли звенит оно, как воскресный звон, и звёзды подпевают ему, когда на светлом пути своём останавливаются, чтобы посмотреть на эту прекрасную землю.

Величаво, как глашатай истины, как пророк, вступил в долину Курент.

«Живой среди живых, весёлый среди весёлых, сват среди сватов!»

Так назвал он себя и направился в село, которое лежало в долине среди кудрявых садов. Подошёл он к первому дому: пуст и мёртв был этот дом. Двери его были открыты, но порог зарос травой, окна глядели, как слепые глаза. И дом, и сад, и хлев — все точно спрашивали:

— Где же наш хозяин? Куда ушёл?

Как падает тёмная капля на белую дорогу, так легло на сердце Курента то, что он увидел. Нагнул он голову к скрипке, ударил смычком и заиграл. Ожило, зашевелилось всё в мёртвом доме, а в сенях, будто проснувшаяся летучая мышь, тыкалась согнувшаяся старуха. Из-под тёмного платка глядело девяностолетнее лицо, ноги втиснуты в толстые туфли, в иссохших руках чёрные чётки. Заговорила, и речь её потекла в такт с мелодией скрипки:

— Правда, правда! Я Дрмашка, Дрмашка, Дрмашка. Ну, быстрее двигайтесь ноги, поворачивайтесь живее. Чего тут плакать? Есть ещё вино! Старый уехал в Америку, давайте нальём! Молодой ушёл в Вестфалию, давайте нальём? Тоне утонул, Юрий сгорел, Тине свалился пьяный... Но Марьянца... Где же Марьянца? Пошла Марьянца по кривому пути, давайте нальём!

Оглянулся Курент и увидел, что набрался полон двор весёлых гостей. Как он хотел, так и вели себя гости: плясали и пели мужчины и женщины, крепкая молодёжь и больные старики. И все они приветствовали его и благословляли:

— Хвала тебе, Курент, что поиграл нам, что принёс нам веселья!

Курент глядел и ничего не говорил, а скрипка пела весёлую песню, как было ей наказано. Село лежало среди зелёных холмов, в плодородной долине, но дома в нём выглядели сонно и устало среди яблонь — седых старух, подпёртых палками. Там ветер ощипал, как пёрышко, крышу, здесь завалился сеновал, и никто его не подымал; там вышибло рамы, а здесь валялись на пороге двери, и сад зарос высоким бурьяном.

«Здесь будут жить весёлые люди», — сказал

себе Курент и снова заиграл. С весёлыми гостями пошёл он к светлому большому дому. Корчмой был тот дом, и весь его заполнил Курент со своим хороводом; распахнули все двери, и даже во дворе поставили столы. Курент, как и полагается музыканту, уселся у печки и играл безустали. Иногда взглядывал на лица людей, которые плясали перед ним, и тогда казалось ему, что он уже видел их раньше, когда-то давно, в печальных своих снах.

Присоединился к гостям старик; правой рукой обнимал он свою старуху, в левой у него стакан с вином. Жёсткое лицо его опалено солнцем и заботами, но пьяные глаза светятся теплом и весельем.

— Попляшем, мать, повертимся, — кричит он, — хоть этот час попляшем, больше ведь не придётся!

Вот и этого старика с его старухой видел Курент в далёком сне. От старости и от вина заплетались у старика ноги, сорочка на груди распахнута, а у старухи платок соскользнул с головы, и седые волосы нависли над глазами.

— Быстрее, мать, не задерживайся!

Старуха, потная и красная, тяжело сопит и пляшет.

«Где я их видел?» — думал Курент, но не додумался.

Пьяный крестьянин бросил ему на колени горсть серебра:

— Часть денег отнял у меня ростовщик, другую часть — налоги, третью бери ты!

И этого крестьянина, кажется Куренту, видал уже он где-то. Там стоял весёлый белый дом с зелёными окнами, перед ним сад, за ним широкое поле... Где это было? Когда?

Курент играл, смотрел, но не спрашивал.

Посреди корчмы плясал сгорбленный старикашка, седой и такой тощий, кривой и больной, будто он среди бела дня встал из гроба. За пазухой у него была гармошка, но, когда услышал он скрипку Курента, кинул свою гармошку в угол, так что застонала она и рассыпалась.

— Кто может состязаться с Курентом? Играй нам, Курент, до самого судного дня, чтобы ничего не увидели эти пьяные глаза, чтобы не угасло в сердце веселье.

Вертелся он в кругу, взмахивая руками, подымал старые, тонкие ноги до пояса, наконец, споткнулся и остался лежать.

«И тебя я уже видел, брат, и твою гармонику тоже слышал», — подумал Курент.

Чем ближе склонялся день к вечеру, тем больше набиралось народу в корчму. Пришли с поля хлопцы, и девушки пришли. Пришли работники и работницы. И всякий, кто слышал игру Курента, начинал подпевать и становился пьяным, ещё и не омочив губ в вине. Хлопцы крепко стучали каблуками об пол, у девушек рдели щёки. Курент играл, песнь его неслась по всей долине, и звёзды на небе подпевали ей. У его ног, в пыли и пьяном угаре толпилась вся община. Один свалился и заснул, другой проснулся и завертел отяжелевшими ногами на месте. Становилось так тесно, что Курент уже не различал отдельных пар. Это уже не была даже пляска, а какое-то шатанье, качанье, толканье. От потных тел шёл тяжёлый запах, остекляневшие глаза еле глядели, языки заплетались в полуоткрытых запёкшихся ртах. Но глотки кричали всё громче и уже заглушали песню Курента:

— Сыграй нам ещё, Курент, богом посланный! Играй громче, день и час этот твой! Корчмарь, дай нам вина! Крутлый год мы лакали

дождевую воду и ломали зубы об овсяные сухари: принеси свинины, корчмарь! Таскали мы груз так, что спины у нас погнулись, теперь ты побудь моим грузом красавица! За долгий год — короткий праздник! Играй, Курент!

В толпе засветился красный платок, и Куренту вспомнился далёкий сон.

Красный платок метался в быстром танце, вот он приблизился к Куренту, и весёлое лицо засияло перед ним. На потный лоб свисали чёрные кудри, ясные глаза приветливо шурились, алые губы звали, шея была открыта глубоко, до белой груди. «И тебя я видал, прекрасная девушка, но когда и где я видел тебя?» — подумал Курент. А она вцепилась в него обеими руками:

— Как сладка твоя песня, Курент! Весёлая твоя песня, о весёлой любви поёт она! Куда держишь путь, Курент? Позволь мне пойти с тобой! Пьяный муж мой лежит на навозе, чтоб ему не проснуться! Спит он и храпит долгую ночь, а я стою, как сирота у окна, и слезами поливаю мои гвоздики. Ох, горькая моя жизнь, но теперь пришёл ты, Курент, и сердце моё полно радости и любви. Не уходи от нас, чтобы не умерли мы от тоски, а если надо тебе продолжить путь свой, не гони меня! Ходить буду я за тобой, и хорошо тебе будет: слушаться буду тебя, как надо.

Курент, пригнув голову, играл весёлую песню, не смотрел и не говорил.

— Скажи хоть приветливое слово, хоть взгляни ласково. Принёс ты веселье, надели же им и меня! Только один раз в году праздник, больше и не надо мне. Но в сто раз горше горечь, когда сердце изведало сладость. Зачем родила меня, несчастную, мать! Погляди, Курент, на долину, взгляни на людей, все умрём, но я

не хочу умирать. Босая пойду за тобой, даже если отправишься ты в тридцатое царство!

Худой, пьяный парень схватил её и закружил так, что юбка её разметалась по поясу: завертелись они среди других гостей, и красный платочек её потонул в давке. Курент оглянулся, но не увидел её больше.

Песня его неслась над толпой, как ветер над поляной, когда жницы жмутся к кесарской дороге, рожь шумит и кланяется до земли, груши по краям дороги стонут и гнут тяжёлые ветви, пока, наконец, не загудит и не зашатается, как раненый, дальний чёрный лес.

Друг за другом падали пьяные плясуны. И только один ещё кружился меж спящих и храпящих тел, пока, наконец, и он не свалился на них и не разлёгся во всю свою длину. Так и лежали они — мокрые от пота и вина, с открытыми ртами и закрытыми глазами. Никто не шевелился, лишь изредка кто-нибудь застонет или вскрикнет.

Курент встал со своего места у печки. Старушка, первой приветствовавшая его на селе, сидела под печкой, голова её нагнулась до самых колен, в костлявых руках сжимала она чёрные чётки. Курент снял с потолка фонарь и осветил лицо старухи.

— Видал я тебя когда-то, — сказал он, — или во сне, или в какой-нибудь другой жизни, о которой больше ничего не знаю. Не была ли ты моей крёстной? Не ты ли качала меня на коленях и ласкала меня, беднягу, вот этими руками? Бог с тобой. Мало хорошего было у тебя в жизни, и не прогонит тебя райский ключарь от своих дверей.

Осветил он лицо соседа и соседки и того крестьянина, который истратил свои последние,

уцелевшие от сотских и от ростовщиков серебряные деньги, чтобы выпить и весело поплясать. Лежал он на брюхе, раскинув руки и ноги, так что, прежде чем увидеть его лицо, надо было перевернуть его тело.

— Где и когда я видел тебя? — сказал Курент. — Не ты ли мой богатый крёстный, который стоял на пороге своего белого дома, толстый и довольный, и побрякивал в кармане серебром, когда проходил мимо Курент-бедняк? Не ты ли драл меня за вихор и давал мне новенький гривенник, чтобы я перестал плакать? Бог с тобою! Крёстный ты мой или нет, видел я тебя когда-нибудь раньше или нет, не жалею, что бросил мне под ноги твоё последнее серебро! Только тот, кто испытал горечь, может опьянеть от радости. Таких пьяниц не гонят от райского порога!

Осмотрел Курент поваленных, как снопы, храпящих людей и увидел старика и старуху, которые и на полу всё ещё держались за руки. Взял он лежавшую на скамье сукню¹ и подсунул им под голову. Посветил им в лицо, долго смотрел на обоих, и стало ему грустно.

— Где же встречал я вас и когда, седоволосые неудачники? Глаза мои не признают вас, а сердце защемило. Как могло случиться, что дожили вы до этой постыдной ночи? Неусыпная горесть, с трудом скрываемая от всех, породила эту ночь и этот час. Да пошлёт вам бог крепкий сон, и да усладит он вас до последнего утра! Не потребуется наводнения, чтобы смыть с вас грех этой ночи!

Осторожно шагая среди поваленных снопов, шёл Курент, освещая лица спящих. И дошёл до

¹ Куртка из толстого домашнего сукна.

пары, рядом свалившейся в яростной пляске, всё ещё в объятиях друг друга: его правая рука обнимала её талию, а на её левой покоилась его голова. Курент нагнулся к ним. Задрожали её чёрные ресницы, шевельнулись губы:

— Куда бы ни пошёл ты, не забудь меня! Не гони меня, горька моя жизнь!

Ещё ниже нагнулся Курент, протянул руку, погладил алые горячие щёки. Смычок от этого движения дотронулся до струн, и звук их был как бы эхо отдалённого воспоминания. Красные губы улыбнулись во сне:

— Как сладка твоя песнь!..

Выпрямился Курент, посветил на обоих, и печально стало ему:

— Все грехи будут тебе отпущены за одно только сильное твоё желание, ибо нет горя горше того, от которого рождается такое сильное желание. Кажется мне, что видел я тебя, в наилучнейших моих снах видел я тебя. Когда же это было, единому богу известно. Но, видел ли я тебя, или не видел, я услышал твоё слово и в сердце твоё заглянул, в твоё грустное сердце. Тысячу раз приветствую тебя. Быть может, встретимся ещё когда-нибудь!

Курент поставил фонарь на запечке, погасил его и, осторожно ступая между поваленных тел, вышел из корчмы.

Лежали они и в сених, и на широком дворе, и даже на дороге. Куренту казалось, что он видит тёмные пятна их тел на поле и на поляне. Спала и храпела в пьяных снах вся долина, звёзды смотрели на неё, мигая, и удивлялись.

Курент медленно шёл по белой кесарской дороге. Свежело, звёзды шурились и гасли, над горами светлело небо. Курент прибавил шагу, чтобы уйти в лес до рассвета. Убегающие тени

искали мрака, снижались и пропадали за холмами. Ведьмы промчались с шабаша. Вслед им дул ветер, чистый и быстрый: зашумели деревья, и на траву упала роса.

На опушке леса Курент обернулся. В долине было темно: звёзды уже не светили ей больше, а утро ещё не приветствовало её своими лучами. Затхлый, тяжёлый запах шёл от неё, как от ядовитого болота. Чёрны были сады, чернее самой ночи. Глаза не могли различить домов: ни песни, ни слова не могло уловить ухо: седой туман волочился по склонам холмов, не мог ни на землю осесть, ни к небу подняться. Курент посмотрел на долину, и голова его склонилась на грудь. Из леса приветствовали и звали к себе любимые братья и сёстры и приятели.

— На что загляделся, Курент? Что тебе до них? Тебе накрыт стол здесь!

— О чём задумался, Курент? Здесь тебе мягко постлано.

— Иди сюда, я наливаю тебе!

— Торопись, я обниму тебя!

Курент смотрел на долину. Не сошла ещё тень ни с дороги, ни с поля. Ни один луч из-за горы ещё не заглянул туда, и даже поднявшийся ветер, перелетая с вершины на вершину, не трогал долины.

Передумал Курент всё с начала и до конца, и затуманились его глаза.

— Здесь будут жить весёлые люди! — сказал он и вошёл в лес, и сердце его было так полно горечи, что слёзы текли по его щекам.

III

Начинался день, когда Курент проснулся в лесу, встал и пошёл дальше странствовать.

Мох был сырым; с тёмных веток падали капли росы. Белые облака спешили с юга, растеклись по небу и закрыли солнце, как только оно появилось.

— Год, что ли, я проспал? — удивился Курент, — была весна, а теперь похоже на позднюю осень.

Посмотрел на долину: нивы были уже убраны, и сено скошено. Попрощался Курент со своим домом:

— Прощайте, братья, прощайте, любимые! Иду в долгий и весёлый путь!

Подул ветер с юга, зашумело и вздохнуло в лесу:

— Разве не любили мы тебя всем сердцем или не мягко постелили тебе?

— Не вздыхайте, мои милые, — утешал Курент, — странник знает, где его настоящий дом, и никогда не заблудится.

И пошёл. Не оглядывался, не раздумывал и никого не спрашивал, куда вела дорога. Легко подымался он, легко спускался, шёл с горы в долину, а с долины в гору. Пристал к нему в дороге крестьянин, но только поздоровался он с Курентом, как уже отстал от него в своих тяжёлых сапогах. Небо было облачно, и душно было так, что когда в полдень зазвонили окрестные церквушки, снял Курент шляпу — лоб его был мокрым от пота. Оглянулся он тогда и заметил в придорожной канаве человека. Это был старик, босой и с обнажёнными руками; голова его свесилась в канаву, а тёмные, покрытые дорожной пылью ноги торчали над канавой.

«Спел он уже свою последнюю песнь или ещё нет?» — подумал Курент, поднял скрипку и легко коснулся смычком струн. Будто издалека донеслась песня, вздохнула, проснулась и весело запела.

Старик шевельнулся, с трудом приоткрыл глаза, полуслепые от пыли и солнца. Смотрел он, но не видел, душа же его прислушивалась, и зажёванные губы его улыбнулись впервые в жизни.

— Заслужил я тебя, горькой долей моей заслужил я тебя, райское приветствие! — И седая голова старика качалась в такт прекрасной, никогда не слыханной им песне. — Присудил ты мне семьдесят пять лет горечи и полную меру отмерил мне... Теперь же ты сам видишь, что не выдержать мне больше... Верно служил и заслужил. Спасибо за эту последнюю милость!

Сказал и улыбнулся. И отлетела душа его слушать песню ещё прекрасней.

Курент нагнулся над стариком.

— Кто ты? Откуда пришёл, и где ты ходил, что устал, споткнулся и лёг в пыли на эту неудобную постель? Был ли ты рабочим в далёком городе и на старости лет отправился в путь, чтобы стать обузой на родине? Или был ты холопом кровопийцы-хозяина, который выгнал тебя на улицу, когда болезни согнули твои ноги? Или разошлись сыновья твои на все четыре стороны света, и не смог ты один подпереть стены, и завалилась твоя хибарка? Или, быть может, сроду бродяжничал ты, бездомный и обуза для всех? По спине твоей видно, что много носила она тяжестей. И если не с тобою, то с кем же ещё может быть божья милость?

Шёл дальше своей дорогой Курент, ни о чём не заботился, как вдруг холодный ветер развеял духоту и крупные капли упали на дорожную пыль. Зашёл он под навес овина, который притулился, грязный и обдёрганный, у края дороги.

За первыми каплями, предохраняющими путников, полил из седых туч настоящий

дождь, и через полчаса на дороге было уже на полпяди грязи, а по канавам заструились жёлтые потоки. Когда ливень стих, Курент увидел на дороге ребёнка. Шёл он, как старик, сторбившись и тяжёлым шагом, не обходя луж, не выбирая, где посуше. Шагал он босиком, а ботинки нёс через плечо, вздыхал и скулил, как голодный пёс на пустыре. Направился он прямо к овину, сел на сырую землю, согнулся в три погибели, прижал лицо к коленям и продолжал скулить. Поглядел на него Курент и чуть коснулся пальцами струн-утешительниц. Ребёнок востепенулся.

— Откуда ты, малыш, и куда идёшь? — спросил Курент.

— К тем, кто поколотил меня. Бьют меня люди.

Услышав такие слова, склонился Курент к ребёнку, и заиграла его скрипка.

— Где ты, отец? И где ты, мать? Почему вы не видите меня? — спросил ребёнок.

«Тёмный лес будет тебе отцом, зелёная нива — матерью», — пела скрипка.

Ребёнок услышал эту песню, и сладко стало у него на сердце.

«Свет велик, и если люди злы, то найдётся же среди них хоть один добрый, пойду его искать», — подумал ребёнок.

«Мир велик и прекрасен. Один из всех будет добр: иди и ищи его, а когда найдёшь, скажи о нём и другим», — пела скрипка.

— Пойду поищу! — сказал ребёнок, растянулся на земле, подложил руку под щеку и заснул. Тихо трезил ребёнок, тихо пела скрипка и смолкла.

Курент нагнулся над спящим и посмотрел

ему в лицо. Слишком рано созрело это лицо и уже увяло от того недоброго, что увидело.

— Откуда пришёл ты и куда направляешься? Плод ли ты винного угара холопа и служанки? Или же ты сын бедняка, единственный у матери, отданный ею в чёрную¹ школу? Или ты подкидыш, брошенный в мир, как камень на дорогу? Кто бы ты ни был, с первого часа твоего нагрузил тебя бог тяжёлым крестом.

Небо прояснилось, и Курент пошёл дальше своим путём. Подъём становился всё круче и тропа всё каменистей, горы заострились и сдвинулись ближе, так что узенькая речушка с трудом пробиралась между ними. Когда Курент взобрался на вершину, громко закричал он от радости. Рядом с ним вздымались крутые склоны, темнели внизу их впадины, шумели кругом багряные леса, далеко под ярким небом тянулась равнина, и серебристая мгла подымалась от неё к небу, как жертвенный дым. Земля воспевала свою красоту.

— Здесь будут жить весёлые люди! — воскликнул Курент, и сладостное воспоминание коснулось его сердца...

Пошёл он дальше по каменистой тропе. Но только перевалил он через вершину, как скрылось прекрасное видение, точно двери рая закрылись, и показалось ему, что вошёл он в страну горести. Небо потемнело. Ужаснулся Курент от того, что увидел. И сказал:

— Здесь бог зажал свою ладонь, когда рассыпал свои богатства!

Чёрное болото тянулось вдоль дороги, чёрная пыль завлакивала поля и деревни. Чёрными бы-

¹ Церковные школы, откуда дети шли преимущественно в семинарии, чтобы стать священниками; дети здесь носили чёрную одежду.

ли воды, чёрным небо. Туча нависла над этим краем, и ни ветер не сдвинул её, ни солнце не растопило своими лучами.

— Где дома, где сады, где люди весёлые?

Смотрел Курент и удивлялся: даже церкви не видел он, даже самой маленькой часовни не заметил! Только далеко, на краю небосклона белело что-то на холме, и несся оттуда вздох: «Дети мои милые, сироты бедные, куда разбежались вы, где несёте свой крест?»

Перед собой увидел Курент село, такое длинное, что не было ему конца и края. Тёмные и мрачные дома тянулись рядами.

— Не знаю, зайдёт ли человек под такую крышу, даже спасаясь от ливня? — сказал Курент, — ни спать, ни мечтать не смог бы он под ней: ни обед, ни ужин не пошли бы ему в горло, и немисливо было бы зажечь здесь ёлочные свечи.

Не было там домов, но стояли камни: камень к камню, как столбы вдоль кесарской дороги, как кресты на могилах. Тяжко жить под такой крышей, ещё тяжелее умереть. Ни яблони, ни ореха, которые прикрыли бы стены. Ни гвоздики, ни розмарина на подоконниках.

Когда Курент стал спускаться, ноги его по щиколотку вязли в чёрном болоте. Вблизи увидел он пустые, будто нежилые дома; тупо и слепо смотрели окна; в этих стенах, сложенных чужими руками, не было места ни любви, ни воспоминаниям!

— Тяжело человеку видеть это, так тяжело, что и о своём горе он забудет! — Так сказал Курент и пошёл дальше, чтобы увидеть людей.

Встретился ему человек: не старик и не ребёнок. Седой он был, и в морщинах лицо, года не были отмечены на этом лице, лишь тупое страдание было записано на нём. Ещё вечер не

наступил, а уже был он пьян и спотыкался: космы волос падали ему на лоб, шапку он потерял. Размахивал он обеими руками и выкрикивал:

— Ну, чего ты злишься? Что пью я? Душа дорогая, не жалеёй водки мне и сама пей! Для кого собирать мне? На, возьми вот эти гроши, сбереги их: посмотрим, что выйдет из этого, кто будет спасен: ты или я, или, быть может, дети наши? Кто будет одет и кто сыт? Душа дорогая, не плачь: кому суждено быть повешенным, тот не утонет! Отдай-ка деньги, отдай! Закажи вина и наливай! Тот, кто не ляжет нынче, завтра уляжется на вечный покой, так не жалеёй мне водки, душа дорогая, не пожалей для меня и покоя!

Слушая эту жалобную речь, Курент взял скрипку, поднял смычок, и понеслась песня по чёрной долине.

Пьянчужка удивлённо смолк, потом радостно вскрикнул и, наконец, заплясал. И уже не один он плясал: бог знает откуда вылезли, точно кро-ты из-под земли, другие люди, и скоро вокруг Курента вертелся целый хоровод. Никогда ещё Курент не видал такого хоровода. Страшен показался бы он среди белого дня, ещё более страшен был он во мраке под низким чёрным небом. Как будто только что вылезли они из-под земли, эти люди: на руках, на лицах, на их одежде ещё виднелся приставший к ним чёрный уголь. Быть может, это преступники, осуждённые на смерть, которые разгрызли зубами свои цепи и хлынули на дорогу, чтобы плясать, в грязи, пьянея от свободы?

— Играй нам, Курент, напоёй нас, жаждущих, даёй радости опечаленным!

Курент играл и шёл перед ними. Так дошли они до большого дома, перед которым рассти-

лался сад, но с такими крохотными деревцами, что тень от них не прикрыла бы и руки.

Вошёл в дом Курент, — вестник радости: тяжёлый, спёртый воздух ударил ему в лицо. Повёл он взглядом вокруг и сказал:

— Не жизнью пахнет здесь, а смертью!

Первая комната была большая, и вторая большая, и третья, но потолок был низкий и чёрный. С потолка свисал красный фонарь, так мало дававший свету, что с трудом можно было различать лица. Все они были бледны, и при тусклом свете фонаря казались ещё более тусклыми и болезненными. Теснились люди в этой корчме, лицо к лицу, тело к телу; у матерей и старших сестёр сидели на руках дети, бледные и старообразные, и смотрели стеклянными глазами.

Курент закрыл глаза и заиграл такую весёлую песню, что даже тяжёлый, ядовитый воздух дрогнул и заколебался, будто белые руки взмахнули в нём. Из усталых, ссохшихся глоток вырвался крик, и дрогнул чёрный потолок от этого крика:

— Играй, Курент! Дай нам веселья!

Курент, как и подобает музыканту, стал на скамью и посмотрел на всех этих бледных мучеников. Посмотрел, и показалось ему, что даже дремавший фонарь проснулся и удивляется. Осуждённые на смерть преступники превратились в бесшабашных танцоров. Не было больше смиренной покорности в лицах, огонь загорелся в тусклых глазах, точно прорвался через покрывавший их пепел. На серых щеках появились красные пятна, как ножовые раны. Гуща человеческих тел, слившихся в одно огромное тело, вертелась чёрным кольцом в вихре пляски, храпя и вскрикивая. Фонарь осветил промелькнувшее перед ним длинное полумёртвое лицо, костлявую жёлтую руку... Чьё лицо? Чья рука?

— Играй нам, Курент, всю эту ночь, и пусть будет она последней!

И Курент играл. Свалился один навзничь, другой упал на лицо, третий на бок. — Человеческая гуща плясала по упавшим и по пролитой водке. Перед глазами Курента появилась девушка, маленькая и тоненькая, с узкими белыми щеками, с глазами, в которых сиял райский свет. Подошла к нему, обняла за шею.

«Когда и где я видел тебя? Когда я любил тебя? — подумал Курент. — Если в жизни, то в какой жизни; если во сне, то в каком сне?»

Уцепилась она за его шею и говорила:

— Как сладка твоя песнь! Никогда я такой не слыхала до сегодняшнего вечера, только в сердце чувствовала её. Ты пришёл, запел и сказал: «Иди со мной, потому что со мной радость». Пойду с тобой, куда бы ни держал ты путь!

Курент нагнул голову, дерзкую песнь пела скрипка.

Она же молила:

— Глянь на меня приветливо, улыбнись мне ласково! Пришёл ты, как луч божий, в этот проклятый край, в мою горькую жизнь. Умерла я раньше, чем начала жить. Хлеб мой — чёрная пыль, работа моя — чёрная пыль: чёрная пыль — моя молодость, и моя радость, и моя любовь. Когда я плакала, думала о тебе, а теперь ты пришёл! Не уходи от меня, а если пойдёшь, возьму тебя за руку и не отпущу никогда!

Так говорила она, и слова её были, как та песня, которую пела скрипка Курента.

От стены отделился саженный парень, схватил девушку за талию и ринулся в людскую гущу. Курент посмотрел ей вслед: она утонула в толпе, как сверкающая капля в чёрной луже.

Когда пробило полночь, курентова песнь

оборвалась, и тишина, подобная смерти, воцарилась в комнате. Гуща тел всколыхнулась, закачалась и распалась: Где остановились, там и попадали один на другого. Курент посмотрел на них, и показалось ему, что он среди мертвецов, сброшенных в вонючую, ядовитую яму. Ни кровинки не было в лицах, из-под век выглядывали белки глаз, зубы были оскалены, ни одна скрюченная рука не шевелилась, и даже храпения не было слышно. Над ними догорал красный дымный фонарь. И стало страшно Куренту, который не боялся даже смерти. Перед ним лежал седоволосый старик, положив голову на грязные башмаки соседа. Беззубый рот широко распахнут, лицо — одна кость. Курент нагнулся над ним.

— О чем ты думал, когда слушал мою песнь? Не чудились ли тебе крестьянский двор и светлое поле? Нет, ни о чём ты не думал, как не думает слепая лошадь, твой подземный товарищ, как не думает слепой осёл, который тянет воду из колодца и будет тянуть, пока не упадёт и не сдохнет. Ты пел во всю глотку, чтобы перекричать своё горе. Что ты будешь распевать завтра, когда потянешь свои цепи? Да помилует тебя бог, хотя бы как слепую лошадь, и даст тебе овса на старости лет.

Ещё ниже нагнулся Курент, чтобы рассмотреть свёрток, лежавший на краю стола в луже разлитой водки. Ребёнок был в этом свёртке: серые старческие щёчки его были мокры от водки, светлые волосёнки склеились на лбу, обеими ручками прижимал он к груди бутылку.

Курент положил его голову на грудь лежавшей рядом женщины, откинул волосы с глаз.

— О чём спросить тебя, дитя, горем зачатое и для горя рождённое? Шахта или фабрика — вот твоя доля, рабство до конца дней! Родился

ты в тюрьме, привык к ней, и не увидишь солнца, а если и затоскуешь по нём, то зальёшь тоску водкой. Да помилует бог тебя и тех, кто породил тебя для этой каторги!

Шёл дальше Курент, согнувшись, ступая через ноги, руки, груди, как по прогнившим брёвнам моста.

— Привыкли, — сказал он, — привыкли к подкованным каблукам на своей груди!

Дошёл и до той пары. Лежали они в чёрной луже, тесно обнявшись, голова к голове, рука к руке. Саженный парень, тёмнолицый, с нахмуренными бровями, склонил голову ей на грудь. Длинные тёмные ресницы девушки были опущены на узкие белые щёки, опалённые губы крепко сжаты.

Курент погладил её бледные щёки.

— Откуда ты пришла, девушка, и какой дорогой пойдёшь дальше? От горя пришла и к ещё большему горю идёшь. Чиста душа твоя, и достойна ты радости. Ужасной милостью помиловал тебя бог, даровав тоску твоему сердцу!

Погладил её по лбу от виска до виска. Шевельнулась она во сне, и губы её улыбнулись:

— Пошла бы я с тобой!..

Курент улыбнулся и, как мать дитя, стал уговаривать её:

— Ты и так со мною: вот держу я тебя за руку. Куда бы я ни пошёл, ты со мною!

Когда Курент дошёл до порога, фонарь вспыхнул, дым разошёлся по потолку, побежали тени от стены к стене. Вспыхнул и погас. В сенях споткнулся он об кого-то; спотыкался и на дороге, потому что в грязи лежали тёмные снопы упавших тел. Так черна была дорога, что даже при лунном свете нельзя было разобрать ничего. Вдруг по ту сторону дороги встала высокая чёрная фигура, зашаталась, вытянулась тёмным

пламенем до самого неба. Все, кто лежали в поле и на дороге, во дворе и в доме, встрепенулись и проснулись. И голос из ночи позвал:

Объединяйся, убогий люд!
Пылают факелы огнём,
Их сотни сотен мы зажжём.
Чтоб виден был палач.

Насыщен нашим телом он
И кровью напоён.
Пусть нашу кровь отдаст теперь!
Мы сеяли — наш урожай!
Холоп, вставай!¹

С дорог и с полей поднялись чёрные, ша-
тающиеся тени, голоса из-за горы загремели,
как гром.

Курент погладил струны.

— Бедняги, слишком долго слушали вы пес-
ни о рае, слишком глубоко ваше горе, и тоска
ведёт вас к великим страданиям.

Тихий звук одной только струны пронёсся
над равниной, и далёкий гром затих за горою.

— Братья, проснитесь! Давайте работать для
себя, строить для себя, терпеть ради своего
счастья!

Пронёсся вздох, в пьяном сне застонали спя-
щие, и всё стихло.

Безмолвна лежала чёрная земля, немое рас-
стилалось над нею чёрное небо. Курент не видел
больше ни долины, ни людей и не слышал их
стона. Сердце его увидело всё от начала до кон-
ца, и сердце это — источник радости и тоски —
почувствовало боль. Печально опустил голову.

— Когда же ваша чаша будет до краёв пол-
на? Когда же взойдёт над тобою, о чёрная до-
лина, утро? Когда выздоровеют эти люди от
тоски и песня о радости станет правдой?

¹ Гимн словенских крестьянских восстаний XVI в.

Ночь была над ним и вокруг него. Курент пошёл, куда вела дорога, ноги его тонули в грязи, холодная роса садилась на лицо. Откуда-то, то ли с гор, то ли с неба, звали его голоса, манили:

— Куда идёшь, Курент, сквозь мрак и горе? Ноги твои устали, сердце твоё печально: под соснами приготовлена тебе мягкая постель!

— Голоден ты, Курент, и жаждешь: на опушке накрыт стол для тебя!

— Любви жаждешь ты, Курент, и я жажду её: не откладывай, приходи скорее!

— Дай, налью тебе!

— Дай, поцелую!

Не слушал Курент эти заманчивые призывы, перешёл он долину, взошёл на гору и стал на вершине. Там, на востоке, небо было чище, и вдали просыпалась прекрасная заря.

Курент приветствовал её:

— Не задерживайся, светлая: устали глаза, которые высматривают тебя, устали души тех, кто ждёт тебя. Спешి облагодворить эту чёрную землю!

Заря уже загоралась над дальними холмами. Из лесов всё настойчивее звали:

— Где ты странствуешь, Курент, почему задержался?

— Богатый стол накрыт для тебя!

— Мягкое ложе ждёт тебя!

В сердце своём приветливо отозвался Курент на этот приветливый зов, но пошёл дальше.

IV

Тёплой осенью, в прекрасный день направился Курент в старый прославленный город¹, в столицу весёлых, любящих вино людей.

¹ Речь идёт о Любляне, столице Словении.

Нет такой чёрной ночи, в которой где-нибудь не сверкнул бы огонёк! Нет такого края, где среди камней не пробилась бы зелёная трава. Много бед и горя испытал и ещё испытает словенский народ, но в утешение бог дал ему Любляну.

Странствуя по словенским землям, человек уныло клонит голову. Печально его сердце. Народ, девятикратно осуждённый, как ты жил и до чего дожил? Твоя история — повесть долгих страданий больного бедняка, который поднимал голову неоднократно, но не смог подняться во весь рост. Сколько долин и горных ущелий есть в этом прекрасном крае, но не вместить им той крови, которая была пролита здесь. И сколько ещё будет пролито её! Едва появившись на свет, ты уже оказался рабом. Брань была твоей наукой, и вколачивали эту науку в тебя палкой. Толкали тебя и пихали и отчим, и мачеха, и крёстные. Иногда ты плакал, иногда падал, иногда подымался. Но только успевал ты подняться, как снова валили тебя, ещё крепче связывали и даже рот затыкали. Струями лилась кровь твоя на землю, на несколько сажень вглубь насыщая её, поэтому так хорошо родила земля, и когда ты ел свой рабский кусок хлеба, ты ел своё тело и пил свою кровь. Крепок ты, о словенский народ! Тысячу и пятьсот лет истекаешь ты кровью, и ещё не иссякла она в твоих жилах. Другой, изнеженный, народ давно бы уже погиб, но ты, тысячи раз израненный, только закалился в страданиях. Под тяжестью вражеского кулака ты только поводишь плечами: «Бросьте, эта шутка стара, ей уже тысяча лет!»

Так размышляет человек, странствующий по этому краю, и так тяжело становится у него на сердце, что хочется ему воскликнуть:

— Не дай мне, господи, дожить до того, что-

бы чужой язык заговорил в этих краях! Не дай мне увидеть, как раб погибает рабской смертью! Дай ему силы порвать цепи, и если не жить, то умереть свободным!

Печально сердце путника, когда смотрит он в глубь веков, и страшно становится ему, когда смотрит он в будущее.

Но доходит странник до Любляны, слышит звон и шум, и засветятся глаза его, и улыбнутся губы. Проходит усталость, печаль осталась за горами, шаг лёгкий и быстр. Заходит странник в корчму и заказывает себе вина: «Эх, что было — то было!»

Все благословляют тебя, Любляна! Есть города и больше и красивее тебя, и все же нет равного тебе под небом. Как луч во тьме, как зелёная лужайка среди серых камней, встала ты посреди бед и печалей. Смотрит странник и радуется: дом за домом приветливо смотрят на него; кажется, что иные даже подмигивают ему. Слушает странник — льётся песня за песней. И сердце странника успокаивается.

Курент, войдя в город, даже свистнул от приятного удивления: нарядные дома смотрели празднично, как в кесаревы именины, некоторые были свежесвыбелены, из-под крыш свисали длинные флаги.

— Благодарю тебя, обитель весёлой добродетели, что приветствуешь, как полагается, своего настоятеля! — так воскликнул Курент и пошёл по городу. И куда бы он ни шёл, где бы ни ступала его нога, и с этой и с той стороны, приветствовали его светлые окна, приглашали его весёлые песни.

Курент шёл с довольным сердцем и улыбался:

— Такой я хотел увидеть тебя, моя столица! Услышала ты моё желание!

Попался ему навстречу человек, уже навеселе, несмотря на ранний вечер. Одет он был по-праздничному, и шляпа сдвинута набекрень.

— Что за праздник у вас сегодня, весёлые люди? — спросил у него Курент.

Человек обрадовался приветливому обращению, опёрся о стену и отвечал, размахивая руками, чтобы подхватить мысли, которые вращались быстрым круговоротом в его голове:

— Что мы празднуем?.. Празднуем, да! Но что именно празднуем — это другой вопрос. Если ты пьёшь, человеке, никогда не забывай, за что ты пьёшь, или за кого ты пьёшь, и по какой причине. Порядок должен быть, порядок — это основа народной жизни... Сегодня ночью мы будем праздновать Прешерна¹, а посему просим тех, кто хотел бы почтить память Юрчича², отложить это намерение... Человек может выпить и сегодня и завтра, и не всё ли равно за кого?

Курента развеселили столь мудрые слова, но он переспросил:

— Так кого же вы будете поминать этой ночью?

— Постойте... — отвечал мудрец, усиленно лоя обеими руками пропавшее слово и не находя его, — зачем это тебе знать, чужестранец? Приятель приглашает тебя на годовщину; годовщина это или нет, не всё ли тебе равно! Обед будет вкусный и напиток полезный, а до остального тебе нет дела!

Лицо мудреца разгорелось, и глаза заблестели.

— Сегодняшней ночью мы празднуем нашу радость! Кто-то — разве я знаю, кто и где: здесь

¹ Крупнейший словенский поэт (1800—1849).

² Словенский поэт (1844—1881).

или там на углу стоит его памятник, да благословит его бог, христианин он или язычник — дал нам возможность праздновать его память, и мы пьём!

Тронутый Курент пожал человеку руку и пошёл дальше.

— Памятник поставили... Кому поставили? Народ не помнит имени, но радуется и пьёт. Вон там высится на постаменте каменный полководец, а может быть, это учёный или художник?.. Стоит он и думает, что это его чествуют и ради него разливное море. Горделиво высится он на своём камне, под сенью муз, народ же шумит, пляшет и пьёт, не думая о нём. Гаснут фонари и звёзды гаснут во мгле, холодная ночь зияет из каждой улицы... Каменный юнак чувствует росу на своих щеках и удивляется: «Почему вдруг такая тишина? Почему пустота вокруг меня? Ведь сегодня празднуют и чествуют меня!» Муза дремлет над ним, у ног его вянют венки и зелёные гирлянды. Поздней ночью или под утро притащится сюда пьяный гость, ляжет на венки и захрапит. А когда проспится, посмотрит кругом и воскликнет:

— Кто это? Зачем это здесь? Ещё вчера здесь было красиво и опрятно, а теперь торчит какое-то чучело!

Сердитый и заспанный гость побредёт, покачиваясь, в город. Каменный юнак почувствует себя оскорблённым до глубины души: «Моим именем и в мою честь пил, мерзавец, а теперь ругается!»

Курент шёл, предаваясь своим мыслям. Вечер догорал. Первая звезда выглянула и посмотрела на Монастырский мост.

— Несите меня, ноги, — сказал Курент, — куда знаете: повсюду звонят, и ни к одной обедне я не опоздаю!

И Курент не ошибся: везде звонили, и он пошёл туда, где звонили громче всего. Проходил он узенькими и приветливыми улицами, и долго никто не попадался ему навстречу, ибо таков закон в Любляне: зашло солнце за гору — человек идёт в харчевню.

Лишь изредка встречалась ему тихая пара, так тесно обнявшаяся, что иной принял бы двоих за одного и, только подойдя вплотную, воскликнул бы: «А ведь их двое!»

Увидел Курент высокий дом и вошёл в него. Кто сможет описать красоту, какая предстала его глазам! Зал за залом, один прекраснее другого! Яркие лучи света, — будто само солнце пришло в гости, белизна и позолота заставили Курента зажмуриться.

Весёлые пары шумели вокруг него: столько молодости и столько красоты Курент никогда ещё не видал. Разгорячённые лица, сияющие глаза, изящные женщины в светлых платьях, розы в волосах... Люди это или ангелы, нисшедшие на землю? Куренту казалось, что всё поёт вокруг: поёт благоухающий воздух, звенят и поют люстры на потолке, поют женщины в светлых платьях, с розами в волосах. Не цела только его скрипка.

«Молодость, не прекращай своей светлой пляски! Пусть всегда улыбаются алые губы, пусть никогда не прослезятся сияющие глаза, пусть никогда не поблёкнут розовые щёки!.. Печальная мысль, зачем ты осквернила это святое место? Когда видел я это лицо и эти глаза?»

Курент пристально посмотрел вслед пронёсшемуся, как луч, видению.

— Где я видел это лицо и эти глаза?

Пышные волосы над высоким лбом, тёмно-русые, будто золотом перевитые, с которых спу-

скалась на нежный затылок жёлтая роза, — матово-белые щёки...

Прошумела мимо, оглянулась. От этого взгляда встрепенулся Курент.

«Этих глаз я не видел во сне: не пошлёт бог таких снов даже праведному человеку, не то что мне, грешному».

В её карих глазах была та лёгкая печаль, от которой губы улыбаются и ухо слышит весёлую песню. Посмотрят такие глаза, и сердце замирает не то от боли, не то от счастья.

«Молодость, не прекращай своей пляски! Горькие мысли, прочь от этого порога!» — и Курент поднял свою скрипку. Вихрем зашумели пары, и нельзя было больше разобрать ни лиц, ни тел. Пела скрипка, и песнь её была полна веселья без краю и, печали без границ.

Очнулся Курент и ужаснулся: увидел он усталые, согнувшиеся тела, потные, измученные лица, мутные глаза: даже люстры на потолке тяжело вздыхали. Молодость замедлила свой, весёлый шаг, глаза затуманились: старость и смерть напомнили о себе; повесил голову Курент, и смолкла его скрипка.

«Где ты? Куда скрылась?» — воскликнул он в своём сердце. Но не было уже её: на пороге лежала жёлтая роза, потемневшая, осквернённая сотнями ног.

Курент обошёл все залы. Сквозь усталое веселье, сквозь гаснувший свет проглядывала затаённая боль. Сонны и недовольны были последние гости, лица их постарели, глаза смотрели хмуро. Радость угасла, будто под дуновением смерти. Не лились больше лучи света, только копоть подымалась до самого потолка.

Ушёл Курент от этого печального зрелища. Под широкой светлой лестницей стояла же-

щина, закутанная в чёрный плащ. Её бледное лицо повернулось к нему. Её тёмные глаза посмотрели на него; в этих глазах отражалась печаль тысячи сердец. Посмотрела на него и ушла в ночь...

Пошёл и Курент, куда повлёл его жребий.

Пришёл он туда, где праздновали свой праздник важные и знаменитые люди этого благословенного края. Над ними в разукрашенных палатах уже витали злые сны, угасали лучи света и были растоптаны розы, но священный полуночный час для них был началом наслаждений. О, кто бы осмелился сказать правду этим светочам, поставленным на высокой горе, чтобы светить меньшим братьям? Привыкший к унижению и лишениям художник смиренно стоит перед таким светочем, и опускаются руки у него, и вздыхает он, а потом в своей убогой каморке ударит себя по лбу ладонью и скажет удивлённо:

— Ведь это был только сюртук, а я думал, что это человек!

Подошёл Курент к этим светочам, поглядел на одного, на другого и подумал: «Что бы им сыграть? По лицам и по глазам их видно, что веселье — их отец и радость — их мать».

Из-за стола поднялся осанистый муж с полным бокалом в руке, смотрел он ленивыми глазами и говорил заплетающимся языком, но голос у него был сладкий. Чем больше слушал его Курент, тем больше удивлялся: «Сладок его голос, а речь — горькая».

Осанистый муж говорил:

— О, словенский народ, бедняк среди бедняков! Твоя история — перечень тысячелетних мучений. Рабом ты был, рабом и останешься! Такова твоя судьба. Горные долины и поля напоены твоей кровью и слезами. И когда ты ум-

решь, смерть твоя будет смертью изнеможённого рабочего: без утешения отправишься ты на тот свет, и смертным ложем твоим будет придорожная канава. Но память о тебе будет жить вечно, ибо ты обладал редким качеством, какого нет у других народов: в горе своём ты пел. Забыта будет даже могила твоя, но золотыми буквами будет написано о тебе: «Так пел народ, которого больше нет». Таково и наше утешение сегодня, когда мы чтим память Косеского¹, этого соловья в роще нашего искусства!

— Не Косеского, а Прешерна! — раздался чей-то густой голос.

Оратор сердито посмотрел на того, кто его поправил, затем опорожнил бокал и так стукнул им об стол, что осколки посыпались со звоном на пол. Голос его из сладкого стал резким и крикливым:

— Зачем вы вмешиваетесь в мою речь? Косеский или Прешерн, а не всё ли равно! Нищета народа есть нищета! Мы собрались сюда не для того, чтобы перебирать историю, а чтобы по-христиански выпить, побеседовать и попеть!

И все, сколько их ни было светочей, встали и чокались и поздравляли друг друга. Лица их раскраснелись, глаза сияли и как будто говорили: «Все мы братья, разорвана последняя меж нами завеса, мы заглянули друг другу в сердца, будем же веселиться без длинных речей и восклицательных знаков!»

И началось веселье. Языки развязались, смех сливался со смехом, слово перекликалось со словом и песня с песней.

Курент смотрел, слушал и думал: «Развязали галстуки и отстегнули воротнички, снима-

¹ Известный словенский лирик (1798—1884).

ли сюртуки и даже пояса распустили, и теперь всё стало понятнее. Песня их больше не врёт, и смех не фальшивит. Весёлая шалунья переоделась: была капуцином, но наскучила ей ряса, и она выпрыгнула из неё. И хоть гола ты, но настоящая, и я приветствую тебя такой».

Не было больше воспоминаний ни о народных страданиях, ни о муках, ни о рабах, ни о крови, ни о слезах. Ноев напиток пенился, переливаясь из бутылок в бокалы, из бокалов в глотки. Всё выше лезли слова по крутой лестнице восхвалений, пока не забрались так высоко, что даже Курент удивился:

«Велико число твоих добродетелей, о словенский народ, и прекрасна твоя страна, но, кто знает, быть может, есть на свете и более красивые места, нам неизвестные? Сладкозвучен твой язык, но кто может присягнуть, что где-нибудь за морями нет слаще твоей речи? Песни твои — перезвон райских колоколов, но ведь и песни цыган берут за сердце. Многими дарами оделил тебя бог, но одним одарил он тебя больше других: нету чепухи сочнее, замысловатей славной словенской чепухи!»

Только успел подумать это Курент, как осянистый оратор бухнул такое, что прочие светочи удивлённо посмотрели друг на друга, а у Курента всё закачалось перед глазами. Самого оратора ошеломила его речь: склонил он отяжелевшую голову на мокрый стол и погрузился в сон, а за ним задремали и прочие светочи.

«Сладко почивай, о родина, и не бойся ничего: не погибла ты и в те далёкие времена, когда не было у тебя столь великих ораторов, как же погибнуть тебе теперь, когда с каждым годом множится их число? Не беспокойся, о родина: задремали усталые светочи твои, но верность в их

сердцах не уснула: утром проснутся они, и пышные речи будут снова раздаваться под солнцем».

Курент вышел на улицу. Тихи и темны были улицы, и фонари еле освещали самих себя. Приказал своим ногам Курент:

— Ведите меня туда, где самое сердечное веселье.

И ноги повели его по длинным узким улицам и привели к низенькому домику, похожему на деревенскую корчму. И так как Курент привык к таким корчмам, он бодрым шагом вошёл в сени и открыл двери.

Люди, которых он увидел в накуренной комнате, были ему знакомы издавна, и это, так обрадовало его, что всем им по очереди пожал он руку братским пожатием. Здесь не было праздничных галстуков, торжественных лиц и пышных слов. Сердца этих людей были известны Куренту, но не знал он, кто они сами, откуда пришли и куда идут. «Одежда ваша говорит, что странники вы и бедняки. От горя вы пришли и к горю идёте!» Но на лицах их не было печали, и очи их не были тусклы. Когда Курент появился среди них, все они весело приветствовали и угощали его. Вино было кислое, но Курент уже пробовал его и раньше: речи были пьяные, но Курент понимал их. Сел он за стол, заложил нога на ногу и заиграл, — таково было его ремесло. Скрипка пела свою песню; гости подпевали ей и плясали. Курент же смотрел на них, и мысли его были полны сочувствия к ним:

«Ты там, который еле держишься на ногах и еле держишь в руке стакан, кто ты? Длиннен твой шарф на шее, но грязен, лицо твоё весело, но бледно и истощено; ясен взгляд твой, но в нём затаилась забота: на звёзды смотришь ты, чтобы не видеть земли! Дай бог тебе никог-

да не вешать головы! А ты, длинновязый силач, что танцуешь летом в зимней одежде с трубкой во рту, кто ты такой? Рождён ты крестьянином, но ветер занёс тебя сюда, то ли в чёрную школу, то ли на фабрику. Не много будет у тебя таких весёлых ночей! А ты кто такая, кого я уже видал и давно полюбил?»

Далеко сидела она, за последним столом у двери, в полутемноте. Низко нагнулась над залитой вином скатертью, опустив голову на скрещённые руки. Из-под ладони смотрели в упор на Курента тёмные тоскующие глаза. Дрогнула смычок в руке Курента, и запела скрипка весёлую песню, какую может породить только тоска:

«В самой глубине сердца рождается страстное желание подняться выше звёзд. В самом тяжёлом горе таится и самая сладкая радость. Счастливый час не вернётся никогда, а потому выпьем до дна!»

Сердце ответило сердцу, мысль отозвалась на мысль: высокий силач вынул изо рта трубку и поднял стакан:

— Кого мы чествуем сегодня, какого святого или угодника? Себя мы чествуем сегодня: друзья, по себе и поминки справляем! Хорошо нам в этот час, но каково было нам вчера, и что с нами будет завтра? Сотни тысяч страдали, но лишь одному мы поставили памятник, чтобы свидетельствовал перед людьми,—кто мы были и как мы жили. Зачем нам знать его имя? Нашим он был, нашей жизнью жил. За тысячу часов — один час веселья, и снова овсяный хлеб, канава у кесарской дороги, а там смерть и небеса... Кто бы ни был тот, кто стоит там на камне, он был нашим, пейте в его честь!

Так говорил силач. Стаканы зазвенели и мигом опорожнились. Силач снова поднял стакан

— Тысячи горьких часов и один только час веселья, да и тот скуп отмерен! Сотни лет терпит словенский народ, и за это дан ему только один день, чтобы попеть и поплясать. Мало-ва-то, — один день за столетия, но кто будет спорить с богом? За тысячи часов — один час: для богатого мало, для бедняка же — целое богатство. Так используем же этот час, выпьем за него, пока он наш!

Он опорожнил стакан, и низко нагнулась его голова.

«Человек, изменит тебе любимая, когда воспоёшь её красоту; угаснет радость, когда выпьешь за неё». — Только подумал это Курент, как чья-то тёплая рука обняла его за шею.

— О, только один час! Боюсь этого часа: дай мне или вечное веселье, или вечное горе! Лучше ночь без просвета, чем мрак после того, как блеснула звёздочка на небе. Ты — вечное веселье и вечная печаль, дай мне или то, или другое, если они неизбежны! Возьми меня за руку, и я пойду с тобой!

Но силач сбросил с плеч пальто, наступил сапогом на трубку и, вздыхая от тоски, ринулся к девушке, обнял её обеими руками за талию и поднял вверх, так что фонарь чуть не опалил её волосы.

— Пляши со мной! Минутку, одну только минутку! Ту каплю, что бог нам дал, выпьем сполна!

И они заплясали, но через минуту свалились оба. И сразу точно свет погас — ни песен, ни смеху: тупо смотрели белые глаза, усталая покорность легла на губы, которые минуту тому назад смеялись так дерзко.

Курент тихонько поднялся и вышел из дома.

— Бедные странники, приласкал бы я вас, но не знаю как? Все мы в этой стране странники!

Утренний туман холодил щёки и добирался до самого сердца. Тяжёлая дверь заскрипела: из сеней вышла сгорбленная старуха, голова её тряслась, в руках держала она чётки. Слабыми, мелкими шажками, вздыхая на крутых ступеньках, спешила она в церковь. Внизу лестницы лежал пьяница, спал и что-то бормотал во сне. Ниоткуда не было слышно ни песен, ни смеха. Город был немым, мёртвым и дышал гнилью.

«За тысячу часов один лишь час!» — подумал Курент, и тяжело стало у него на сердце.

Вышел он из города и пошёл в гору. С каштанов падали капли росы, тихонько шевелилась листва, и что-то вздыхало в ней. Поднявшись на вершину, Курент обернулся. В белом озере тумана была потоплена Любляна. Тихо подымались и опускались его валы, и ни звука не доносилось оттуда. Курент различил чёрные башни францисканской церкви, выплыла из озера верхушка св. Микулы, но белые волны опять закрыли весь город. Над этим озером сияли яркие звёзды; такие звёзды, какие бывают перед зарёй, когда они приближаются к земле, чтобы показать всю свою красоту, ибо ярче всего сияют милые глаза на прощанье. Волны тумана продолжали двигаться. На минуту из них поднялся и исчез чёрный высокий шпиль, точно рука утопающего, которая взмахнула в последний раз. Холодно стало Куренту, то ли от сырости; то ли от печали.

— Входи, заря, смилуйся! — воскликнул он, обращаясь к востоку, — трижды пятьсот лет тоскую я по тебе, жаждет тебя моё сердце каж-

дое утро! Не медли же, поспеши, чтобы увидели тебя те, кому уже грозит слепота!

Вот замигала звёздочка, дрогнула, и не стало её. За первой погасла вторая, третья... Будто ласточки, заметались тени. Курент улыбнулся: узнал в этих тенях милых подруг — красивых ведьм. Целый день занимаются они колдовством, чтобы ночью наслаждаться горько заслуженным грехом. Они возвращались с весёлого шабаша и по дороге гасили звёзды, — их обычное пред-рассветное занятие.

Небо на востоке посветлело, свежий ветер всколыхнул белые волны озера.

— Приветствую тебя, далёкая заря! — воскликнул Курент, поплотнее запахнул свой плащ, потому что воздух похолодел, и пошёл. Куда? Повёл ли его бог веселья, или же вожатым его была костлявая смерть? Шёл ли путь его к светлой заре, или же вела его дорога в бездонную ночь?..

V

Курент не любил оставаться в одиночестве: когда он шагал по запущенным дорогам или лежал в траве и смотрел в небо, к нему прилетали, как чёрные летучие мыши, печальные мысли. Поэтому, встретив на пути своём набожных богомольцев, он присоединился к ним. Из всех словенских краёв собрались они в пёстрый караван. Шли усталые, согбенные, покрытые пылью, потом и грязью, как последние бродяги. Больше всего было стариков и старушек, но были среди них и дети, и даже красивых девушек приметил Курент. Шли они пара за парой, впереди них качался деревянный крест. По зелёной словенской земле уныло неслась старая песнь, как вопль печали и тоски:

К тебе взываем мы, Мария,
Мы, бедные, покинутые твари...

Песня подымалась ввысь и угасала над сжатым полем.

Тонкий дребезжащий старушечий голос выкрикивал:

— Святая Мария! Матерь божия! Святая девственница!

Сотни голосов присоединялись к ней:

— Моли бога о нас!

Сердце Курента заняло:

«Отовсюду собрались вы, верующие дети народа. Ваши слова — покорная просьба, ваша песнь — боязливая молитва. Сколько же горечи в вашем сердце, если ни надежде, ни проклятию нет в нём места? Бросают в тюрьму невинного холопа, а он не защищается, даже не кричит, он сгибает колени и молится: «Дай, боже, перенести это страдание: сделай так, чтоб растворилась темница!» Работал холоп, на всех господ этого мира работал, а подконец скрестил руки и молит: «Дайте мне хлеба!» — а ему в ответ: «Да обратит на тебя божья мать свои милосердные очи и будешь ты утешен, холоп».

Всё печальнее становилось на сердце у Курента.

«Сколько времени шёл Христос на Голгофу? Наверняка, не трижды пятьсот лет. И трижды падал он на своём пути! Словенский народ, сколько раз возлагали на твои израненные плечи крест твоего распятия, и никто на пути твоём не помогал тебе, когда обессиленный падал ты лицом во прах. Когда начался страстной твой путь? Когда и кем был вынесен суровый приговор? И где конец этому ужасному странствованию?»

Песнь вздыхала над полями:

Больных исцеление,
Грешных спасение,
Печалей утление,
Моли бога о нас!

Глуше становились голоса, медленнее усталый шаг. Вправо и влево раскачивался деревянный крест впереди молящего о пощаде шествия. Старик крепко держал крест обеими руками, но костлявые руки тряслись и ослабевали. С дороги клубами подымалась удушливая глинистая пыль. Губы пересохли, жёлтые щёки впали, глаза едва различали дорогу.

До краёв наполнилось жалостью сердце Курента. Рука его коснулась серебряных струн, и будто огонь небесный упал на чёрное болото. Головы поднялись, тусклые глаза загорелись, поступь стала лёгкой и твёрдой. И самая песня изменилась; слова ещё оставались прежними, но звучали они по-иному: не молитву, а застольную песню распевали оживившиеся голоса. Курент ответил песней, такой звонкой и весёлой, что горы зашумели своими лесами и высоко над полем запели жаворонки богу в честь и Куренту во славу. А затем изменились и слова; бог знает, как это произошло, но спины выпрямились, глаза засмеялись, и полились залихватские звуки:

Сердцу нет милей
Наших
Разудалых молодцов-удальцов.

Голоса дружно звучали; Курент различал густой бас старика, несшего крест. Крест не качался больше над толпой, но спокойно лежал у него на плече. И голос старушки не дребезжал, а тоненько подпевал в лад с другими. Но прият-

нее всех и звонче были девичьи и детские голоса, подымавшиеся до самого неба. И небо приветливо улыбалось в ответ, благосклонно принимая этот весёлый гимн.

Процессия богомольцев поднялась на гору. Там приветствовали её белая церковь и белая корчма рядом. Богомольцы прибавили шаг, а Курент и сам не заметил, как очутился впереди всех и даже впереди креста.

Вошли богомольцы в церковь, но что делать в церкви, когда нет больше горя в сердцах? Преклонили колени пред алтарём, но губы их не хотели больше бормотать молитвы, а просили песни. О чём молить? «Матерь божия, ты имеешь всё, что тебе надо, не пожалей же и мне куска хлеба!» Перекрестились и, радуясь, что обет выполнен, за что последует отпущение грехов, перешли в корчму, потому что почувствовали голод и жажду. Побежали в корчму, будто спасаясь от ливня или наводнения. Но не было ни ливня, ни наводнения: небо было ясное, без единого облачка, и день клонился к вечеру. В корчме было тесно, и богомольцы разлеглись около неё на зелёной траве до самого крутого склона.

Сначала выпили, и бог благословил их вино. стакан переходил из рук в руки так быстро, что бутылка еле поспевала за ним. Чем слаще было вино, тем легче становилось сердце, тем веселее звучала песнь. Сначала весёлая, потом дерзкая, потом — вихрь! Глаз подмигивал глазу, рука сжимала руку, разгоралось желание, и губы ловили губы.

Тепла и полна соблазна была эта ночь. Курент прилёт на траву, чтобы побеседовать со звёздами. Только прилёт, как зашептали слева, потом вздохнули справа... шопот и вздохи нес-

лись отовсюду, как тихая стыдливая песнь любви. Услыхал он голос:

— Как мила твоя песня, как сладка ночь с тобой!

И увидел он тёмные горячие глаза, румяные щёки, трепещущие губы и алый платочек на белой шее.

Обнял он белую шею и нагнулся к этим взволнованным губам и к румяным щекам.

— Долго ждала я тебя, всегда думала о тебе. Как утомительно это странствование без конца, и как коротка эта ночь! Когда проснутся мои бедные глаза, ещё горше покажется им привычное горе. Ты принёс радость, сохрани же её навеки. Обнял ты меня своей благостной рукой, не отпускай же меня. Вошла твоя песнь в моё сердце, пусть же звучит там всегда.

Так изливала она свою тоску, пока губы её не смолкли на его губах. Звёзды сияли над ними и распевали им свадебную песнь.

Когда Курент проснулся, холодное утро подымалось из-за гор. Богомольцы спали, раскиданные, как снопы, которые вихрь разметал по скошенному полю. Истомлены и бледны были их лица под серым небом; побледнели и розовые щёки невесты Курента; прижав скрещённые руки к груди, она вздыхала во сне: сердце её уже чуяло грозу будущих дней.

Тихо поднялся Курент и оглядел спящих.

— Как вы будете спускаться в долину, бедные странники? Тяжела будет ваша поступь, опущена голова, а в сердцах — печаль и страх. Чем подарила вас дева Мария? Не умерла, а лишь уснула ваша тоска, жаждущая вина и ласки, и станет она ещё горше, когда вы проснётесь. Ибо таков закон, изменить который не в силах даже Голгофа!

Спящие богомольцы услышали сквозь сон печальное пророчество и застонали, когда проходил мимо них Курент.

Его поступь была тяжёлой, голова поникла на грудь, а сердце было до краёв полно горечи.

«Сколько же времени ещё тебе странствовать и куда направишь ты свои стопы, о Курент?»

Грустный спустился он в долину и там присоединился к другим странникам, которые не распевали молитв и не славили Марии. Несли они на плечах тяжёлые узлы, лица их загорели от солнца и ветра, и ничей глаз не отличил бы старых от молодых, потому что пыль толстым слоем покрывала все лица.

Куренту стало жутко: «Не поровнялся ли я с шествием на Голгофу?» Он обратился к тяжело дышавшему старику:

— Куда?

— В дорогу. Куда-нибудь, лишь бы уйти! Когда тюремщик отпирает железные двери, разве думаешь о том, куда пойти? Лишь бы вырваться!

Курент вглядывался в проходивших. Шли старики и дети, молодые парни и девушки, и на всех лицах было написано: «Только бы вырваться из тюрьмы, а куда? Не всё ли равно!»

— В Америку! — сказал старик.

— Подальше! — сказал парень.

— Куда угодно! — сказала девушка.

Тяжело ступают ноги, согнуты спины, в поту и пыли лица. Старик говорит, точно поёт печальную песню:

— Шестьдесят лет прожил, шестьдесят лет мучился. Удобрял я эту землю своей кровью, слезами глаз моих, потом чела моего, но не родила мне она. Может быть, найдётся в мире

Потемнело облако, почернело море, стихла песня, и в седой мгле исчезло судно. Так гибнет надежда в пучине горя.

Пал Курент на колени, склонил голову на седой камень.

— Земля! Родная мать! Если нет у тебя хлеба, дай мне камень, но и с камнем в руках я буду петь о тебе!

В эту ночь, когда Курент тосковал в одиночестве на берегу, тёмные сны пронеслись над словенской землёй. Светила луна, но из-за чужеземных гор встала огромная тень и покрыла всё небо. Быстрыми шагами переходила она с горы на гору. Песнь её была злой насмешкой над бедняками, издевательством над надеждами, презрением к печали. Ноги её были до колен в крови, и куда ни ступала она, падали леса, рушились избы и увядала трава.

Вслед за нею шагал босой человек без шапки, в коротких по колено штанах, подвязанных верёвкой, подобранной в придорожной канаве. Бледное и болезненное было у него лицо, а подмышкой держал он гармонь. Печальны были его глаза, слёзы катились по его щекам и капали на землю. И там, где падала его слеза, снова зеленела трава, шумели леса, и жизнь начиналась у разрушенных жилищ.

Шла тень, и тысячи испуганных глаз следили за ней, тысячи сердец замирали в страхе. Прошла тень и её спутник, и исчезли оба в далёкой тьме. Холодный ветер подул с севера. Загудело в лесах. Пришла полночь, но не за горами уже был рассвет, час, когда просыпается надежда.

другая страна, что будет ко мне добрее, а если нет, ну, что ж, смерть везде одинакова!

Заговорил парень:

— Прощай, чёрная родина моя, голодная и жаждущая мать! Стоишь ты на пороге и смотришь вслед своим сыновьям и не осмеливаешься позвать их обратно. Буду думать о тебе до последнего моего вздыхания. Умрёшь ты, закажу панихиду и верно сохраню память о тебе. А доживёшь до моего возвращения, принесу тебе хлеба и вина, молитвенник и пёстрый платок в подарок. Всё дам тебе и всё дал бы, только молодости своей не могу отдать.

Заговорила и девушка:

— Не гляди на меня с такой печалью, прекрасная родина, не плачь на прощанье! Отдала я тебе сердце моё и самые ласковые думы мои. Почему же требуешь ты ещё и алые щёки мои и молодые годы? Хочешь быть моим смертным ложем и кладбищем? Тот, кто хочет жить, уходит от тебя, дорогая родина, и вернётся к тебе только тогда, когда возжаждет вечного отдыха.

Слушал Курент эти речи и горько стало ему. Никогда ещё не представлялась ему родина такой печальной и опустошённой: куда ни глянь — повсюду седой, выгоревший на солнце камень, похожий на гробницы. С неба припекало солнце, но Курента пробирала дрожь.

Дорога спускалась к берегу. Там внизу, в сияющем мареве, заблестел город, а за ним — склони колени и воспой хвалу городу¹ — бескрайное море, радость и свобода!

Шествие точно окаменело: все глаза устремились вдаль, крепко забились сердца, в наивной тоске осознавшие всю глубину своей горести.

¹ Триест, портовой город на Адриатическом море.

— Туда! Или смерть, или рай!

И Курент вместе со всеми воскликнул:

— В дорогу!

И пошёл впереди, как апостол перед учениками, а скрипка его запела:

«В дорогу! Не спрашивай, куда идти: вправо или влево, на север или на юг. Не проси, о странник, ни любви, ни преданности, ни верности, одно сумей — сохранить жизнь! Всё утерять, всё истратил, голодный и голый, спасай своё последнее достояние, не медли, беги!»

Быстрее зашагали ноги странников, ибо подгоняла их надежда, глаза их прояснились, лица повеселели.

— В Америку!

— К спасению!

— Куда угодно!

И песня молодости и надежды поднялась к небу, как светлое пламя. Не было больше трясущихся ног, морщинистых лиц, заплаканных глаз. Уходили от своих домов мрачными могильщиками, а подошли к бескрайнему морю весёлыми сватами. Позади — тюрьма и ночь, впереди — солнце и свобода.

— На корабль! В путь!

Курент смотрел вслед отъезжавшим в далёкую страну путникам, слышал их весёлые крики, видел освещённые солнцем паруса... Но прошло по небу седое облако, и потемнел корабль. И тогда увидел Курент, что глаза путников, устремлённые на прибрежные камни, были полны слёз. И последнюю песню услышал Курент:

Улыбнись нам на прощанье,

Родина бедная, превыше всех любимая!

Приветствуй нас, мёртвых без тебя,

Ибо что нам на чужбине веселье, юность и жизнь!

3 руб.